
ПОЛИС

4'2004

Политические
Исследования

Научный и культурно-просветительский журнал

Издается с 1991 г.

Выходит 6 раз в год

№ 4 (81) 2004

**Читайте
в следующих
номерах:**

Материалы виртуальной
мастерской по методологии
политической науки

Социально-политическое
развитие Дальнего Востока

Политическая наука
и мировая политика

POLIS
www.politstudies.ru

Political Studies

185

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ: КОНЦЕПТЫ, ПОСТУЛАТЫ, ГИПОТЕЗЫ

Размышления по поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении посткоммунистических трансформаций*

Т.Л. Карл, Ф. Шмиттер

После крушения Советской империи и начала режимных изменений в Восточной Европе неизбежно встал вопрос: можно ли при анализе данных процессов использовать знания о закономерностях перехода от авторитарного правления к путям консолидации новых демократий, накопленные в ходе изучения опыта стран Южной Европы и Латинской Америки? Подобные "натяжки" (stretching) сразу же вызвали серьезные возражения — прежде всего со стороны североамериканских специалистов по Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) и бывшему Советскому Союзу (БСС)**. Столь бурная реакция удивила нас. Вероятно, она была обусловлена тем обстоятельством, что до распада Советского Союза ученые, занимавшиеся "тоталитарными", или коммунистическими, исследованиями, фактически не выходили за пределы собственной тематики и отвергали как региональные обобщения, так и методологию сравнительного анализа отдельных случаев. Дальнейшее развертывание дискуссии (со временем утратившей былую остроту) привело к появлению обширной литературы, где доказывалось, что концепты, постулаты и гипотезы, основанные на осмыслении опыта Юга, могут оказаться весьма полезными и при сравнительном исследовании происходящего на Востоке. И хотя до полного консенсуса пока далеко, эта точка зрения сегодня доминирует.

Такая эволюция дискуссии имела серьезные последствия. Вместо того чтобы сравнивать посткоммунистические режимы только между собой (как это предлагалось вначале), некоторые исследователи попытались творчески (пусть иногда и критически) использовать теории, описывающие прежние транзиты и консолидации, порой прибегая при этом к рискованным "кросс-региональным" сравнениям как средству выявления сходств и различий. В центре внимания специалистов по ЦВЕ и республикам БСС, естественно, оказались вопросы режимных изменений в целом и демократизации, в частности [см., напр. Beume 1996; Offe 1997; Bunce 1999]. В связи с этим им пришлось обратиться к работам, где аналогичные вопросы рассматривались на африканском, азиатском и латиноамериканском материале, а данные по посткоммунистическому миру стали все чаще включаться в кросс-региональные исследования [см., напр. Diamond et al. 1986; Haggard, Kaufman 1995; Linz, Stepan 1996]. В свою очередь, теоретики, ранее не обращавшиеся к проблемам ЦВЕ и БСС, обнаружили, что при разработке своих аргументов и подходов им следует учи-

тывать и посткоммунистические режимы. И все же, несмотря на отмеченное сближение позиций, существует немало областей, где разногласия пока не преодолены.

Обращаясь к спорам о том, могут ли теории демократизации "перемещаться" или же регионы по-прежнему остаются единственным (или наиболее продуктивным) полем для сравнений, важно отметить, что в основе исходного восприятия, интерпретации и (нередко) последующего отторжения специалистами по "восточным" транзитам, теорий, разработанных применительно к Югу, часто лежало искаженное толкование концептов, постулатов и гипотез так наз. транзитологии и теории консолидации демократии (консолидологии)*. Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы снять некоторые из недопониманий (по крайней мере — в отношении нашей собственной позиции) и тем самым обосновать полезность парадигмы транзита/консолидации. На основе анализа новейшей литературы, посвященной "восточноевропейской исключительности", мы постараемся определить, в каких областях уже достигнут консенсус, а в каких (что особенно важно с точки зрения поставленных здесь задач) сохраняются разногласия. Разумеется, речь не идет о попытке проанализировать все аргументы, выдвигаемые сторонниками парадигмы транзита/консолидации, и обобщить весь массив (или даже большую часть) работ по этой тематике. Мы сфокусируем внимание лишь на наиболее ярких, на наш взгляд, опытах критического применения данной парадигмы к посткоммунистическим режимным изменениям и прежде всего на очерке М.Макфола "Четвертая волна демократии и диктатуры" [McFaul 2001].

"ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ": СТАКАН НАПОЛОВИНУ ПОЛОН ИЛИ НАПОЛОВИНУ ПУСТ?

Основная гипотеза, из которой исходили специалисты по Восточной Европе (по крайней мере — изначально) заключалась в том, что перейти к демократии от тоталитаризма будет гораздо сложнее, чем от "чистого" авторитаризма. Более того, некоторые ученые утверждали, что "марксистско-ленинская" политическая культура, коммунистическое институциональное наследие и необходимость одновременного осуществления множества "революционных" преобразований делают практически невозможным установление в странах ЦВЕ и БСС "современной либеральной представительной демократии". В этом отношении указанные страны считались чем-то исключительным, а потому предполагалось, что режимные изменения там будут происходить иначе, чем в других регионах.

Наша первая реакция на такое предположение была скептической. Отметим, что развертывающиеся в странах ЦВЕ и БСС процессы аналогичны имевшим место в Южной Европе и Латинской Америке, мы сформулировали ряд концептов, постулатов и гипотез, которые могли бы оказаться полезными при их анализе [Karl, Schmitter 1991]. Правда, при этом мы не брались предсказывать, какая часть посткоммунистических политий станет когда-либо удовлетворять оговоренным нами "условиям успешного демократического транзита" и, соответственно, вступит на путь подлинных режимных изменений. Тем не менее, оставаясь в позиции сторонних наблюдателей, мы были не так уж удивлены, когда страны ЦВЕ и даже некоторые республики БСС

КАРЛ Терри Линн, профессор Европейского и Стэнфордского университетов; ШМИТТЕР Филипп, профессор Европейского университета во Флоренции.

* Материал был подготовлен для семинара "Режимные транзиты: переходы от коммунистической системы правления в сравнительной перспективе", состоявшегося 15-16 ноября 2002 г. в Стэнфордском университете при финансовой поддержке Центра демократии, развития и законности и Института международных исследований.

** Среди наиболее непримиримых критиков такого рода "натяжек" следует, в первую очередь, упомянуть восточноевропейского ученого, работающего на Западе, Г.Шопфли. Poleмику по этому поводу см. Schmitter 1994, 1995; Bunce 2000.

* Эти термины также оказались в центре дискуссии и навлекли на себя серьезную критику. Ирония в том, что первый из них был изобретен исследователями из стран ЦВЕ, а потом уже — по аналогии — возник второй. Как будет показано ниже, "нейтральная" терминология в принципе не характерна для подходов, опирающихся на транзитологическую парадигму.

добились необычайных успехов в демократическом транзите. Эти страны завершили переход к демократии даже быстрее своих предшественников из Южной Европы и Латинской Америки. По уровню политического развития они вполне сопоставимы сегодня с послевоенной Западной Европой или современной Латинской Америкой. И мы полагаем, что такая ситуация сохранится в обозримой перспективе.

Делая подобное заявление, мы хотим прояснить, о каком уровне идет речь и каков диапазон различий между посткоммунистическими странами. На Востоке, как и в большинстве других регионов, существуют демократии, переходные (или "гибридные") режимы и автократии. У Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Словении, судя по всему, не может быть другого будущего, кроме "современной либеральной представительной демократии". Как бы мы ни оценивали нынешние достижения этих стран (подробнее они будут рассмотрены ниже), им удалось консолидировать свои режимы по всем показателям, и вероятность регресса к автократии или даже к "гибридному" режиму там не выше, чем в развитых западных демократиях. По мнению компетентных наблюдателей, траектория дальнейшего развития Албании, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Македонии, Молдавии, Монголии, России, Сербии и Черногории и Украины пока еще не столь очевидна. Как бы то ни было, мы убеждены, что во многих из этих стран (хотя, наверное, не во всех) будут установлены режимы, подобные действующим в других европейских странах, — особенно если им удастся определить свои национальные границы. Нам отнюдь не кажется очевидным, что разброс вариантов в начальной или конечной стадии транзита на Востоке больше, чем на Юге, — идет ли речь о лингвистическом или культурном разнообразии, степени политической стабильности, уровне развития либо даже государственности*.

Более того, ни в исследованиях политического поведения, ни в опросах общественного мнения нам не удалось найти сколько-нибудь убедительных свидетельств того, что восточноевропейцы в чем-то принципиально отличаются от западноевропейцев и южан — если, конечно, они добились тех же прав и выстроили сходные институты. Действительно, между странами каждого региона имеются серьезные различия, но это отнюдь не означает, что они обязательно должны существовать между регионами в целом. Короче говоря, *хотя коммунизм и не похож на другие формы автократического правления, специфика посткоммунистических стран не настолько велика, как полагают некоторые**.*

Этот оптимистический вывод, безусловно, не распространяется на восточные республики БСС. В закавказских и среднеазиатских политиях разворачиваются совсем иные процессы — и это признают как те ученые, которые видят в них особую разновидность транзита, обусловленную своеобразием традиционно присущих этим политиям социальных порядков, так и те, кто, отталкиваясь от опыта развивающихся стран, объясняет их борьбой между политическими группировками и зависимостью от экспорта сырья (прежде все-

* Возьмем, к примеру, такую латиноамериканскую страну, как Гватемала. В ней проживают порядка 20-26 народов, имеющих собственные языки, границы страны оспариваются, уровень экономического развития намного ниже, скажем, уругвайского, а разрыв между бедными и богатыми один из самых больших в мире.

** Это позволяет предположить, что некоторые разновидности коммунистического и авторитарного режимов имеют гораздо больше общего, чем считалось ранее. Однако для проверки такого предположения требуются дополнительные исследования. Помочь в выявлении сходств и различий между подобными режимами способен, в частности, сравнительный анализ различных форм авторитарного и автократического правления.

го нефти, природного газа и хлопка)*. Со временем эти версии посткоммунизма могут стать наглядным аргументом против прежних транзитологических моделей — во всяком случае, пока под транзитом понимается не переход от авторитаризма (как это было изначально), а переход к демократии.

Вместе с тем стоит отметить, что два главных интеллектуальных "гамбита", к которым обычно прибегают при описании недостаточной демократизации в восточных странах (или, по крайней мере, поверхностности введенных там формальных демократических процедур), были придуманы еще в ходе изучения стран Латинской Америки, когда исследователи пытались найти пути использования парадигмы транзита/консолидации при "структурно неблагоприятных" условиях. Некоторые специалисты по посткоммунистическим транзитам утверждают, что в Азербайджане и "...станах" установлены лишь "фасадные" или "электоралистские" демократии (в той мере, в какой можно говорить о достижении упомянутыми странами хотя бы такого уровня), под прикрытием которых процветают автократические практики, которых придерживаются как элиты, так и массы, сохраняющие приверженность авторитарным ценностям. Другие доказывают, что эти и другие посткоммунистические режимы являются "дефектными" (но при этом — реальными) демократиями, причем вследствие неразрешимых конфликтов и неэффективной политики сбои в их функционировании постоянно усиливаются и потому рано или поздно там будут вновь установлены автократические порядки. Обоснованность таких аргументов можно проверить, последовательно анализируя опыт различных стран, но сразу же нужно напомнить, что они выдвигались и при изучении других регионов, где переход от авторитаризма не всегда завершался становлением демократии. В действительности концепты "гибридного режима" и "электорализма" были выработаны для отображения ситуации в Центральной Америке**. Ученые, занимающиеся андским регионом, куда входят такие конфликтные страны, как Венесуэла, Колумбия и Эквадор, постоянно спорят о том, не скатываются ли эти некогда "успешные" переходные страны к неким новым формам авторитаризма (и не пришли ли они уже к этому состоянию).

На наш взгляд, вопрос, которым следовало бы задаться специалистам по "восточным" транзитам, заключается совсем не в том, почему так много посткоммунистических политий остаются автократиями. Удивительно то, что их так мало. В данном контексте тот факт, что некоторым (или даже многим) посткоммунистическим странам не удалось перейти к демократии, отнюдь не свидетельствует о неадекватности парадигмы транзита/консолидации. Скорее он указывает на потребность в более четком определении демократии и уточнении ее параметров, ибо только в этом случае мы можем быть уверены, что при установлении сходных явлений и процессов использовались одни и те же концепты и та же самая система координат. В настоящее время ученые, занимающиеся проблемами демократизации, прилагают немало усилий, чтобы решить эту важнейшую задачу и разработать совокупность теоретически обоснованных и эмпирически выверенных критериев режимных изменений, но это

* Любопытное сочетание этих двух подходов можно найти в работах П.Дж.Луонг. Опыт использования модели "доминирующего сектора экономики" применительно к данному региону см. Karl 2000. Весьма полезными при его изучении могут оказаться также исследования "хлопковых" и иного рода монокультурных экономик, получивших широкое распространение в Африке и Латинской Америке. В связи с этим хотелось бы привлечь внимание к новому проекту Центрально-Европейского университета, направленному на выявление объяснительного потенциала теорий "доминирующего сектора" и "монокультурной экономики" при изучении траекторий развития стран ЦВЕ и каспийского бассейна.

** Л.Даймонд использовал их и при анализе других регионов [см. Diamond et al. 1986]. Определение этих концептов можно найти в работах П.Дрейка и Э.Сильвы [Drake, Silva 1986], Т.Карла [Karl 1995] и Р.Поуза [Rose 2000].

весьма непросто, учитывая многомерность концепта демократии и идеологическую нагруженность допущений, встроенных в любую методику измерений*. Пока эти проблемы не решены, очень сложно понять, когда речь идет о смене режима (переход от автократии к некой форме демократии), а когда — о внутривнутрирежимном изменении (переход от одного типа автократии к другому). Эта трудность возникает при исследовании как посттоталитарных, так и поставторитарных транзитов.

ПРОДУКТИВНОЕ И КОНТРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНЗИТОЛОГИИ И ТЕОРИИ КОНСОЛИДАЦИИ ДЕМОКРАТИИ ПРИ АНАЛИЗЕ “ВОСТОЧНЫХ” ТРАНЗИТОВ

Некоторые постулаты и аргументы, выработанные в рамках парадигмы транзита/консолидации, уже стали имманентной частью посткоммунистических исследований, и, похоже, именно с этим в какой-то мере и связан прогресс, достигнутый в данной сфере. Было признано, что изменение режима должно рассматриваться в качестве особой предметной области, и такой подход распространен сегодня гораздо шире, нежели упор на изучение консолидации или даже качества демократии. Некоторые исследователи называют такие режимные изменения “транзитом” тем самым четко связывая их с парадигмой, впервые выдвинутой Д.Растоу, Г.О’Доннелом и Ф.Шмиттером, другие предпочитают термин “трансформация” желая подчеркнуть, что имеется в виду нечто другое, но в любом случае изменение режима сегодня принято трактовать как самостоятельный (хотя и не изолированный) этап политического развития соответствующих стран. И если отвлечься от специфики терминологии, то нельзя не поразиться тому, как часто в детально прописанных и квалифицированных страновых исследованиях процессы распада коммунистических систем и становления “чего-то нового” описываются на языке, теоретически и концептуально сообразным тому, который использовался в работах, посвященных режимным изменениям в Южной Европе и Латинской Америке.

Это означает, что применительно к странам ЦВЕ и БСС транзит (опять же вне зависимости от терминологии) должен пониматься как период неизвестной протяженности, для которого характерна крайне высокая степень неопределенности, когда действия сложно предугадать, а выбор недостаточно ясен. В страновых исследованиях часто подчеркивается, что в подобной малопредсказуемой ситуации акторы постоянно испытывают недостаток адекватной информации и не способны точно просчитать свои интересы, и указывается на состояние полнейшей неразберихи, при котором любое решение оказывается случайным. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что в эти “интересные времена” структурное положение акторов не может служить основанием не только для краткосрочных политических прогнозов, но и для оценки уже произошедших событий. Таким образом, переходы от автократии (в гораздо большей степени, чем последующие переходы к демократии) — это периоды “аномальной политики”, требующие особой концептуализации. В условиях, когда события внезапны, акторы нетипичны, идентичности поколеблены, ин-

* Последнее обстоятельство имеет особенно важное значение. Макфол, например, утверждает, что только восемь из 28 посткоммунистических стран стали либеральными демократиями, хотя из приведенной им таблицы [см. McFaul 2001: 16-17] следует, что таковых должно быть 12. Поскольку же оценка успехов переходных государств зависит от того, как эти государства классифицируются и в какой системе координат измеряются, при изменении “точки отсчета” к числу демократий может быть отнесена, по меньшей мере, половина посткоммунистических политий. Кроме того, как мы знаем, никакая система измерений не бывает полностью объективной и беспристрастной. Так, в отчетах “Фридом Хауз”, которыми пользуются многие исследователи, налицо несомненный уклон в пользу тех переходных стран, которые быстро ввели у себя всю совокупность экономических (т.е., строго говоря, не политических) свобод.

ституты не функционируют, поддержку невозможно просчитать, выбор поспешен, а риски неизбежны и от них нельзя “застраховаться”, обычные инструменты общественных наук бесполезны, и это объясняет, почему так сложно построить формальную модель транзита. Ничто из того, что мы знаем о посткоммунистических временах, не противоречит этим постулатам.

ТРАНЗИТ: ПЕРЕХОД ОТ АВТОКРАТИИ ИЛИ ПЕРЕХОД К ДЕМОКРАТИИ?

Теперь обратимся к проблемам, вызывающим более глубокие разногласия. Прежде всего мы хотели бы устранить одно серьезное недопонимание, касающееся парадигмы транзита/консолидации: в литературе, которую теперь относят к “транзитологической”, никогда не утверждалось, что во всех странах, где меняются лидеры, либерализуются отдельные аспекты политической жизни, принимаются новые конституции и начинают проводиться альтернативные выборы, происходит смена режима. Никто из изучавших историю Южной Европы или Латинской Америки (из осмысления которой и выросли концепты и гипотезы транзитологии) не стал бы заявлять ничего подобного. Эти два региона особенно “богаты” на “революции” против автократического режима, порождавшие лишь новые или модифицированные формы автократии. Латиноамериканские военные создавали собственные конституции, инициировали плебисциты, основывали политические партии, формировали новые парламенты. Пиночет провел в своей стране радикальные либеральные экономические реформы, но при этом чилийский режим остался авторитарным. В авторитарных странах Латинской Америки выборы зачастую проводились чаще, чем где бы то ни было в мире, но ни один компетентный исследователь не назовет это сменой режима (хотя некоторые высокопоставленные американские чиновники время от времени и высказываются в этом духе!). Более того, такие концепты, как “электорализм”, были разработаны именно для того, чтобы уловить и описать изменения в формах осуществления авторитарной власти, в т.ч. и через введение псевдодемократических процедур.

Далее (и это крайне важно), никто никогда не утверждал, что режимный транзит всегда означает переход к демократии. Напротив, в литературе, посвященной исследованию различных типов транзита, ясно говорится, что даже после начала режимных изменений траектории развития могут быть самыми разными: одни страны будут двигаться к консолидации демократии, другие — к некой новой форме авторитарного правления, в третьих будет установлена та или иная версия “гибридного” режима. Именно поэтому формирование парадигмы транзита началось с дискуссий о переходе от авторитарной системы правления. Тот — весьма прискорбный с нормативной точки зрения — факт, что в некоторых бывших республиках СССР (но, что интересно, ни в одной из стран ЦВЕ) под влиянием политических событий конца 1980-х — начала 1990-х годов сложились новые формы автократического режима, с эмпирической точки зрения вряд ли можно назвать неожиданным. Такой поворот событий не является чем-то исключительным и не связан с какой бы то ни было “посткоммунистической спецификой”. В связи с этим мы бы посоветовали противникам парадигмы транзита рассмотреть в сравнительном контексте политическую историю Латинской Америки (а также, если обратиться к более “свежему” опыту, — Ближнего Востока и Северной Африки, не говоря уже о регионе к югу от Сахары), где можно найти достаточно примеров перехода от авторитаризма, не приведшего к становлению демократии. Критиковать транзитологию за то, что она не занимается поиском причин, обусловивших такой результат, в логическом плане не более оправданно, чем критиковать ее за то, что она не объясняет, почему соответствующие страны не присоединились к Соединенным Штатам. И в том, и в другом случае объяснение будет весьма простым: это произошло потому, что никто и не пытался сделать иначе.

Заявление о том, что в той или иной стране начались режимные изменения, способные (потенциально) привести к установлению демократии, будет иметь смысл только в том случае, если в этой стране сложились определенные "условия для транзита". Это принципиально важный момент, ибо, как мы увидим ниже, от наличия или отсутствия таких условий во многом зависит оценка плодотворности использования парадигмы, выведенной на основании опыта стран Южной Европы и Латинской Америки, что, по всей видимости, не все еще осознали. Эти условия не являются структурными, т.е. мы не можем говорить о каком-то едином наборе структур, который требуется для перехода от авторитарной системы правления и который мог бы объяснить этот переход. Тем не менее, существуют структурные условия, которые помогают понять, почему в той или иной стране возникла устойчивая и "высококачественная" демократия. Более того, были выявлены некоторые структурные условия, которые, судя по всему, исключают возможность успешной демократизации — по крайней мере, до тех пор, пока эти условия не устранены. Обнаруженная Растоу закономерность — "если нет нации, то нет и демократии" — была признана большинством теоретиков демократизации с самого начала, получило подтверждение и заключение Мура о том, что демократия невозможна при господстве землевладельческой элиты*.

В первых транзитологических работах смена режима описывалась как процесс либерализации, способный дать толчок формированию или восстановлению институтов гражданского общества, и — в этих условиях — проведению "учредительных выборов". Принципиальными здесь являются три момента: (1) либерализация; (2) формирование или восстановление гражданского общества, и — в этом контексте — (3) проведение справедливых выборов с не известным заранее результатом. Попробуем определить режимный транзит другим способом, например, исключительно через проведение выборов или на основе их результатов (тем самым проигнорировав множество других — либеральных и демократических — изменений) — значит, в лучшем случае, впасть в "электроралистское" заблуждение. Похоже, такая ошибка характерна для исследований демократии во всех регионах мира, а не только в странах ЦВЕ и БСС, — возможно, потому, что за выборами очень легко следить, их результаты несложно представить в количественной форме и классифицировать. Но это совсем не то, о чем говорится в классической литературе по транзитам, и подобная практика сомнительна как с эмпирической, так и с нормативной точки зрения.

Чтобы судить, насколько продуктивна (или бесполезна) транзитологическая парадигма, необходимо четко понимать, в чем заключаются "условия транзита". Например, в одних случаях имеет место либерализация, обусловленная расколом элиты на сторонников "жесткой" и "мягкой" линий, а в других — нет**. Аналогичным образом, такой раскол может быть результатом реального, потенциального или даже воображаемого общественного протеста, и

* Другими словами, страна, в социальной структуре которой доминирует сельскохозяйственная элита, чье благополучие зависит от использования репрессивных производственных практик, почти не имеет шансов на установление демократии. Так, например, в странах Центральной Америки переход даже к "гибридной" демократии оказался возможным лишь после того, как ориентированные на экспорт отрасли сельского хозяйства, основанные на подавлении труда, перестали быть главным источником накопления капитала [см. Karl, Schmitter 1991; Guilhot, Schmitter 2000; Mahoney 2000].

** Нас несколько озадачило эмпирическое заключение Макфолла о том, что раскол элит не являлся "главной причиной политической либерализации в бывших коммунистических странах" [McFaul 2001: 8]. На том основании, что Горбачев был "консенсусной кандидатурой", он не рассматривается Макфоллом в качестве "внешней фигуры". Это плохо согласуется с теми выводами, к которым мы пришли в ходе наблюдения за развитием событий в большинстве стран ЦВЕ и БСС. Но поскольку мы, безусловно, не можем считать экспертов по данному вопросу, нам бы хотелось услышать, что думают по этому поводу специалисты, следившие за происходившим в регионе в середине — конце 1980-х годов.

от этого зависит, откроет ли он возможности для создания или восстановления институтов гражданского общества. По нашим (не экспертным) наблюдениям, в Албании, Азербайджане, Белоруссии, Болгарии, Эстонии, Литве, Македонии, Румынии, России, Сербии, Словении и на Украине на ранних стадиях транзита главные импульсы к его проведению исходили от группировок внутри коммунистических партий, и эти группировки пытались использовать организационные структуры своих партий для контроля над темпами и направлением последующих режимных изменений*. В данном отношении это были классические случаи либерализации сверху. Нет ничего удивительного, что подобный внутренний раскол в правящей партии со временем привел к широкой общественной мобилизации**. Полностью вписывается в общую модель "навязанного" транзита и тот факт, что "либерализаторы" не всегда добивались желаемого результата и нередко оказывались вынуждены уступить власть другим политическим фигурам.

ФОРМЫ ТРАНЗИТА

Другая концептуальная посылка транзитологического подхода заключается в том, что существует множество дорог по которым может пойти развитие общества после крушения авторитарной системы, и только некоторые из них (но, что принципиально, отнюдь не одна) ведут к установлению демократии. Это позволяет предположить, что выбор конкретной дороги зависит от характера свергнутого недемократического режима (о правомерности подобного предположения мы поговорим чуть позже) [см. Linz, Stepan 1994; Bratton, Walle 1997; Munck, Leff 1997]. Таким образом, вопреки постулатам теории модернизации, демократический транзит — это не единый эволюционный процесс, а набор альтернативных путей, не всегда гладких и прямых.

При определении этих путей мы учитывали два фактора: стратегию элит и масс, с одной стороны, и соотношение сил между правящими группами и их противниками — с другой. Концептуализация упомянутых факторов и оценка их гипотетического влияния позволили разбить транзиты на четыре категории: (1) "пактовые", (2) "навязанные", (3) "революционные" и (4) "реформистские". Это означает, что возможно несколько вариантов эквилибрия, позволяющих достичь демократии, и логику демократизации нельзя сводить к "игре сотрудничества", в которой соотношение сторон примерно равно, — такого не бывает ни при каких формах транзита. Обсуждая различные пути к демократии, мы с самого начала учитывали вариант, при котором победители могут "навязать" демократизацию — неважно сверху или снизу, изнутри страны или извне. В качестве "классического" примера "навязанного" транзита часто приводят Бразилию, где процесс демократизации растянулся на 16 лет, на протяжении которых страна то и дело оказывалась под контролем военных (и их союзников из числа гражданских лиц).

На наш взгляд, в странах ЦВЕ и БСС представлен практически весь спектр выделенных нами форм транзита, за исключением революционного восстания и переворота снизу (которые, в принципе, встречаются не очень часто и редко приводят к демократическому транзиту). Правда, был момент, когда казалось, что подобный сценарий реализуется в Румынии, но при более тщательном анализе развития событий в этой стране становится ясно, что, несмотря

* Сходная схема была реализована и в некоторых странах Центральной Азии и Кавказа, но там, как уже говорилось, это не привело к переходу к демократии.

** Главные отличия этих всплесков общественной активности от имевших место в Южной Европе и Латинской Америке — их националистическая окраска.

*** Впервые эти категории были выделены нами при осмыслении латиноамериканских транзитов, а затем приложены к опыту стран Южной и Восточной Европы [Karl 1990; Karl, Schmitter 1991; см. также Munck, Leff 1997].

ря на отдельные вспышки насилия и стихийную мобилизацию масс, действительный ход транзита и его результаты неизменно оставались под контролем сил, сложившихся *внутри старого режима*. Поэтому мы полагаем, что было бы неверным квалифицировать случай Румынии как революцию снизу, завершившуюся переходом к демократии.

В некоторых странах ЦВЕ и БСС демократический транзит был инициирован *снизу* — реформаторами, не входившими в правящую элиту (или даже конфликтовавшими с ней). Так было в Армении, Чехии, Хорватии, Грузии, ГДР и (предположительно) в Латвии. К числу стран, пошедших по пути пакта, относятся Польша (где одновременно прослеживаются и элементы “реформистского” транзита), Венгрия с Болгарией (которым свойственны также черты “навязанного” транзита) и, возможно, Монголия и Молдавия. Наконец, таким странам, как Албания, Азербайджан, Белоруссия, Эстония, Литва, Македония, Румыния, Россия, Сербия, Словения и Украина, демократический транзит, по всей видимости, был “навязан”.

При таком разнообразии даже удивительно, что широко распространенное представление, будто все посткоммунистические режимы начали транзит из одной точки, так редко оспаривается. Разве могли бы страны, якобы столь похожие друг на друга (во всяком случае, значительно больше, чем страны Юга), найти так много альтернативных путей освобождения от коммунизма, а затем — установления либеральной демократии и ее консолидации? Неужели не очевидно, что в конце 1980-х — начале 1990-х годов социально-экономические и культурные системы этих стран и, особенно, их политические структуры сильно различались — по крайней мере, гораздо сильнее, чем считалось раньше. Помочь в объяснении диверсификации результатов транзита в посткоммунистическом мире могла бы более подробная классификация типов коммунистической автократии, фиксирующая страновые различия внутри региона. Вместе с тем анализ сходств и отличий этих стран от других авторитарных государств позволил бы проверить гипотезу о том, что форма транзита зависит от типа исходного авторитарного режима.

Ответ на вопрос о сходствах/различиях в формах транзита и их влиянии, безусловно, зависит от того, каким образом те классифицированы. Согласно системе, которую мы предложили, в посткоммунистических транзитах нет ничего необычного — хотя бы с точки зрения классификации. Среди них есть и “пактовые” транзиты, и “реформистские”, обусловленные давлением снизу, со стороны относительно мирно настроенных, но мобилизованных на борьбу (и грозных) противников режима, и транзиты, “навязанные” сверху некой группировкой внутри правящих элит. В латиноамериканских и азиатских странах большая часть транзитов была “навязана” сверху и осуществлялась под руководством элит. Транзиты такого типа имеют одно “замечательное” свойство — они часто приводят к непредвиденным последствиям, и после того, как под влиянием либерализации складывается или возрождается мятежное гражданское общество и появляется возможность проведения выборов с неопределенным результатом, события начинают развиваться совсем не так, как ожидали инициаторы перемен. Именно это и случилось в Чили, Парагвае, Португалии и Мексике. Действует ли отмеченная закономерность на Востоке — вопрос спорный, во всяком случае Макфол утверждает, что в странах ЦВЕ и БСС самыми распространенными (и успешными) были транзиты, “навязанные снизу” [McFaul 2001].

Однако многие сторонники теории “восточноевропейской исключительности” опираются на другие системы классификации, а потому их выводы не могут быть использованы для проверки наших гипотез. Конечно, каждый аналитик вправе утверждать, что его классификация — самая верная, и затем пытаться доказать, что она точнее других предсказывает различия в результатах. Единственное, на что он не имеет права, так это на концептуальную “всегда-

ность”. Например, предлагаемая Макфолом система классификации переходных стран существенно отличается от нашей. Но каковы бы ни были ее достоинства, в ней не фиксируется то, что мы называем формой транзита. Классификация Макфола — это типология результатов, к которым приводят первые выборы (независимо от того, были ли они “учредительными”), и исходя из этих результатов упомянутый автор оценивает властные отношения, существовавшие в тот момент, когда был дан (или не дан) толчок режимным изменениям. Но мы-то пытались понять всю последовательность решений, действий и властных или силовых отношений, сопутствующих либерализации и (потенциально) началу изменений режима. Именно ситуация неопределенности, характерная для периода либерализации, и приводит к тому, что акторы вынужденно или добровольно принимают правила проведения “учредительных” выборов (если такие вообще проводятся). Короче говоря, характер выборов зависит от формы транзита, а не наоборот.

Более того, учитывая множественность факторов неопределенности, возникающих в этом контексте, нет никаких оснований ожидать, что сделанный выбор приведет к искомым результатам. Акторы (особенно занимающие государственные посты) склонны переоценивать собственную популярность и недооценивать мобилизационный потенциал своих оппонентов и потому “рационально” навязывают такие правила игры или идут на такие компромиссы, которые в конечном счете ведут к их поражению*. Наиболее отчетливо данная закономерность проявляется в электоральной сфере, что превращает выборы в весьма ненадежный источник информации о предшествовавшем раскладе сил. Во многих случаях акторы оказываются не в состоянии просчитать результаты будущих выборов, даже если верно оценили свои электоральные возможности (что тоже бывает не часто): соотношение сил может поменяться уже в процессе самих выборов. Безусловно, такое случалось и в других регионах**. Иначе говоря, хотя по результатам первых выборов можно судить о направлении будущих экономических и политических реформ, они не могут использоваться “задним числом” как надежный индикатор изначального соотношения сил.

Макфол не только вводит в свою классификацию отличную от нашей переменную, но и выдвигает принципиально иную гипотезу. Согласно этой гипотезе, в странах ЦВЕ и БСС, в противовес Латинской Америке и Южной Европе, наибольшее распространение получили не “пактовые” или “навязанные” транзиты, а “реформистские”, инициированные снизу, и именно они и были самыми успешными. По сути дела речь идет о возвращении к прежней “ортодоксальной” теории демократизации, которая во многом опиралась на исторический опыт Великобритании, Шотландии и скандинавских стран и связывала появление и последующее развитие демократии с наличием разрозненных групп, исключенных из политики, их постепенной мобилизацией и борьбой за включение в политический процесс. Если данная гипотеза верна (а мы так не считаем***), то это равнозначно развенчанию новой “ортодоксии”, опирающейся на транзитологическую парадигму, причем не только в

* Великолепные иллюстрации этого тезиса (на примере Польши) можно найти в диссертации М. Кастл.

** Подобными просчетами особенно “славится” Латинская Америка, где военные диктаторы в надежде укрепить свою власть часто назначали выборы и референдумы, будучи уверены в победе, но в итоге проигрывали. Наиболее известный пример такого рода — поражение генерала Пиночета на организованном им самим референдуме. Это событие стало отправной точкой демократического транзита в Чили.

*** По нашей оценке, большинство посткоммунистических транзитов были “навязаны” сверху. Но поскольку нельзя исключить, что некоторые случаи транзита трактуются нами неверно, мы призываем специалистов по странам ЦВЕ и БСС высказать свое мнение по поводу предложенной здесь классификации.

контексте ЦВЕ и БСС, но и применительно к некоторым другим регионам мира (в частности, к Азии и Африке*). Кроме того, под вопросом оказывается ряд устоявшихся представлений о той форме правления, которая предшествовала смене режима, и прежде всего заключениям советологов о природе “тоталитарных” политик и “тоталитарных” обществ и ее влиянии на способность социальных групп к самоорганизации и автономным действиям. Подобно сторонникам транзитологической парадигмы, Макфол концентрирует внимание на акторах, а не на структуре, однако он полагает, что при переходе к демократии более продуктивной является логика противостояния (в противоположность политике “сотрудничества”).

Но если вернуться к нашей изначальной классификации форм транзита, то корреляции, которые якобы обнаружил Макфол, полностью исчезают. С точки зрения глубины экономических реформ или демократических преобразований Армения, Хорватия, Чехия и Словакия, Грузия и Латвия мало чем отличаются от Болгарии, Венгрии, Польши, Молдавии или Монголии (о ГДР по понятным причинам мы не упоминаем). Те действительно серьезные и принципиальные различия, которые можно обнаружить между Югом и Востоком, на самом деле обусловлены различием между “пактовыми” и “реформистскими” транзитами, с одной стороны, и “навязанными” — с другой. Известны случаи, когда представители старых режимов Юга довольно успешно возглавляли продвижение своих стран к демократии. В Латинской Америке здесь сразу же вспоминаются Бразилия и Мексика, а в Азии — Тайвань и Таиланд. Конечно, режимные изменения заняли в этих странах чуть больше времени, они осуществлялись более постепенно и заметно меньше сказались на последующем политическом курсе, но их институциональные итоги почти не вызывают сомнений. Демократические достижения стран ЦВЕ и БСС — Албании, Азербайджана, Белоруссии, Эстонии, Литвы, Македонии, Румынии, России, Сербии, Словении и Украины — гораздо менее очевидны (а иногда и сомнительны), но надо заметить, что ни одна из упомянутых стран, возможно, за исключением Сербии, не вернулась (пока) к чему-то напоминающему прежнюю форму автократии и все они — кроме Азербайджана — движутся (пусть не всегда последовательно) к консолидации демократии.

Сходную с макфоловской, но более сложную по своей структуре аргументацию выдвинула В.Банс. По ее мнению, демократическим преобразованиям в Восточной Европе способствовала не только очевидная победа антикоммунистов на первых же выборах, но и своевременное и быстрое проведение либеральных экономических реформ, а именно введение конвертируемой валюты, стабилизация цен, приватизация собственности и либерализация торговли, особенно с западными странами [Vunpe 2000]. Акцент здесь снова делается на транзит “снизу”, но уже в связи не только с политическими, но и с экономическими факторами. С точки зрения парадигмы транзита/консолидации ситуация выглядит совершенно иначе. Согласно этой парадигме, там, где массовое давление снизу отсутствует, недостаточно или просто может спровоцировать репрессии со стороны правящей элиты, еще не утратившей свои позиции, включение в нарождающийся новый режим представителей режима старого способно сыграть позитивную роль. Что же касается либеральных экономических реформ, то их нужно проводить медленно и осторожно или даже отложить до того момента, когда сложатся институты политической конкуренции и сотрудничества. В идеале такие реформы вообще не должны стоять в пове-

* В отдельных африканских странах стратегия “пактов” принесла некоторый успех, а вот примеры успешного “реформистского” транзита нам с ходу привести сложно. В Тайване и Таиланде “навязанная” демократизация дала неплохие результаты, тогда как “реформистские” переходы на Филиппинах, в Южной Корее и Индонезии имели противоречивые последствия.

стке дня, так как они уже были проведены прежним автократическим режимом (как это было в Испании, Чили и — в меньшей степени — в Мексике).

И здесь снова встает вопрос о способах оценки. В цитированной выше статье Банс не пытается последовательно измерить скорость и основательность политических и экономических реформ (предположительно осуществляемых одновременно) и не предлагает каких-либо четких критериев для оценки успеха демократизации. В качестве примера стран, где быстрые (и якобы бескомпромиссные) реформы привели к становлению демократии, она приводит Польшу, Венгрию, Чехию и Словению*, а контрпримером ей служит Россия, где шоковая терапия была “скорее шоком, чем терапией”. В свою очередь, Украина и Болгария квалифицируются Банс как страны “медленного или половинчатого транзита”. Было бы интересно представить предлагаемую этой исследовательницей классификацию в виде таблицы, однако не уверены, что правильно понимаем, из каких критериев она исходит. Тем не менее, даже при самом беглом взгляде на составленные сторонниками “экономического” подхода “реестры” обнаруживаются очевидные несообразности. Возьмем, к примеру, Чехию и Словакию. Показатели успешности экономических реформ у Чехии значительно выше, чем у Словакии (8,2 против 7,3), но по множеству других показателей она едва ли продвинулась по пути консолидации демократии дальше, нежели ее бывший “компаньон”. Другой пример — Албания, которая по темпам экономических преобразований опережает Словению, Монголию, Македонию, Болгарию и Молдавию, но недалеко ушла от них в политическом плане.

Другими словами, заключение о том, что в большинстве стран ЦВЕ и БСС режимные изменения осуществлялись под давлением снизу и носили “реформистский” характер, будучи весьма соблазнительным, еще нуждается в эмпирическом подтверждении, а для этого требуется более проработанная система измерений.

Но давайте на секунду представим, что это заключение справедливо и страны ЦВЕ и БСС действительно отличаются в данном отношении, скажем, от государств Латинской Америки. Опровергает ли это парадигму транзита/консолидации (по крайней мере, в том виде, в каком она представлена в наших работах) или же лишь указывает на важные (и теоретически интересные) региональные особенности? Мы всегда утверждали, что в Латинской Америке наиболее распространенной формой перехода к демократии — во всяком случае до конца XX в. — был транзит сверху (“навязанный” или “пактовый”). Однако мы отнюдь не пытались объявить эту закономерность универсальной и специально подчеркивали ее региональную “привязку” [см. Karl 1990]. В годы холодной войны политические изменения на основе массовых движений были в регионе практически невозможны вследствие гегемонистского присутствия США, которое укрепляло позиции местных элит (и вооруженных сил) и блокировало любые попытки “реформистской” демократизации снизу. Именно этим в значительной мере и объясняется распространенность в Латинской Америке транзитов, осуществлявшихся под руководством элит (включая и отнюдь не редкие “пактовые” транзиты)**, и до сих пор неясно, как будет об-

* Подобная оценка Словении нас весьма удивила. Посетив несколько раз эту страну, мы обнаружили, что громадную роль в ее экономике играет бывшая номенклатура, а темпы экономической либерализации крайне низки. Более того, согласно некоторым данным, в Словении проведено даже меньше экономических реформ, чем в Албании, Хорватии и России!

** Многие надеялись, что с окончанием холодной войны в Латинской Америке откроются возможности для режимных изменений снизу и возникнет почва для “реформизма”, так как связи (реальные или воображаемые) между массовыми движениями и коммунизмом уже не будут никого пугать. Но в нынешней ситуации эти надежды могут не оправдаться. Высшие должностные лица, обеспокоенные предполагаемым сдвигом влево, попытались “притегнуть” “Лулу” в Бразилии, Чавеса в Венесуэле, Луиса Самора в Аргентине и Луисо Гутьереса в Эквадоре к расширенной “оси зла”, куда изначально входила только Куба [Axes of Evil 2002].

стоять дело после окончания холодной войны*. Таким образом, поскольку преобладание в регионе “пактовых” и “навязанных” транзитов было во многом обусловлено спецификой отношений между США и Латинской Америкой, распространение данной закономерности на другие регионы в целях опровержения парадигмы транзита/консолидации — прием весьма сомнительный**. В действительности опыт Латинской Америки лишь в очередной раз указывает на значение регионального разнообразия, выступая при этом не аргументом в пользу невозможности обобщений, а иллюстрацией того, как в различных региональных (и не только региональных) условиях феномены одного и того же типа могут порождать различные политические модели.

О ПАКТАХ И “ПАКТИРОВАНИИ”

Неверное употребление концепта “пактирование” (pacting) наиболее характерно для дискуссий о режимных изменениях в странах ЦВЕ и БСС. Почему-то многие считают, что использующие этот концепт теоретики транзита (в т.ч. и авторы настоящей статьи) видят в пактах единственно надежный путь к консолидации демократии. Это не так. В первых работах по сравнительной транзитологии действительно констатировалось, что стратегия “пакта” оказалась очень эффективной, особенно в Венесуэле и Испании, где она способствовала углублению транзита, блокировав скатывание этих стран назад к авторитаризму, и высказывалось предположение, что “пактирование” может быть полезно и в других случаях. Вместе с тем исследователи предупреждали, что заключение пакта чревато появлением “застывшей”, элитистской и олигархической системы, которая может крайне негативно сказаться на развитии демократии в долгосрочной перспективе (это предупреждение прозвучало после крушения венесуэльской партийной системы и вступления страны в череду непрерывных кризисов). Отмечалось также, что пакт не является ни необходимым, ни достаточным условием успешного транзита. Напротив, он рассматривался лишь как средство “ограждения игрового поля”, позволяющее в особенно критические моменты выводить за рамки обсуждения наиболее спорные вопросы. Тот же самый эффект может быть достигнут с помощью неокорпоративистских, консорциативных, федералистских и других механизмов разделения властей / ограничения повестки дня, призванных выводить острые вопросы за пределы пространства выработки политического курса, дабы снизить уровень неопределенности и, тем самым, снять ощущение угрозы.

Мы не только исходили из множественности путей продвижения к демократии, но и подчеркивали сложность (а потому — и редкость) заключения пактов в крайне изменчивых условиях транзита, ибо вследствие такой изменчивости шансы на то, что представители правящего режима и их оппоненты окажутся в ситуации некоего равновесия сил, когда ни одна из сторон будет не в состоянии навязать другой свое “решение”, крайне невелики. Примечательно, что такое равновесие может быть обусловлено не только патовой ситуацией, но и взаимным стремлением акторов избежать наихудшего сценария. Поэтому стратегия “пакта” обычно использовалась в тех южноевропейских и латиноамериканских странах, где из памяти акторов (вне зависимости от их политической ориентации) еще не изгладились воспоминания об ужасах государственного террора или гражданской войны, что побуждало их смягчить свои требования и попытаться найти компромиссное решение.

* Энтузиазм, с которым США, вопреки декларируемой ими приверженности демократии, встретили недавнюю попытку свергнуть популистское (и демократически избранное) правительство реформаторов в Венесуэле, дает основания полагать, что они не отказались от своей роли регионального гегемона.

** Так, в Южной Европе примером довольно успешного “реформистского” транзита может служить Греция, а в Азии — Южная Корея.

На наш взгляд, серьезного анализа заслуживает гипотеза о том, что вероятность достижения равновесия (и, соответственно, заключения пакта) снижается, если разделение на сторонников и противников старого режима происходит не по “классовому” признаку (подразумевающему экономическую взаимозависимость акторов), а по национальному или связанному с вопросами идентичности. Накопленные к настоящему времени данные можно трактовать как в пользу такой гипотезы, так и против нее, но если она верна, то это позволяет объяснить (и, что особенно важно, не прибегая при этом к ссылкам на “тоталитарный” характер политического режима), почему для ряда посткоммунистических стран путь “пактового” транзита практически был закрыт. Подобное объяснение, по всей видимости, будет “работать” и на большей части территории Африки, а также в некоторых регионах Латинской Америки*.

По непонятным для нас причинам многие специалисты по посткоммунистическим странам полагают, что: (1) транзитология занимается исключительно пактами; (2) в странах, где действовали автократии советского типа, пакты невозможны, а значит — (3) траектории движения этих стран к демократии будут совсем иными, чем в Южной Европе, Латинской Америке и других регионах. Конечно, мы не эксперты по посткоммунистическому миру, но даже при самом поверхностном анализе развертывающихся там процессов становится очевидно, что этот силлогизм ошибочен — от начала до конца. Транзиты не сводятся к пактам, и для их успеха пакты совершенно не обязательны. Более того, в некоторых посткоммунистических странах пакты были заключены, и эти пакты во многом определили как ход, так и результаты режимных изменений. Наиболее показателен в этом плане опыт Венгрии; в Польше “пактирование” наложило на ненасильственную мобилизацию снизу (“транзит через реформы”); Болгария была вовлечена в длительный и напряженный процесс переговоров “за круглым столом”, и это, похоже, повлияло на конфигурацию ключевых демократических институтов страны. По некоторым данным, соглашения “старейшин”, обладающих правом решающего голоса, имели место и на ранних стадиях транзита в Монголии и Молдавии. И хотя отдельные пункты подобных пактов были впоследствии отвергнуты обществом или “забыты” самими “договаривающимися сторонами”, это не означает, что в упомянутых странах не было “сотрудничества”. Смысл пакта состоит в достижении согласия, которое требуется в соответствующий политический момент, и (обычно) оглашении этого факта в процессе транзита, а отнюдь не в конкретных аспектах его реализации. В “хрестоматийных” случаях “пактового” транзита (Венесуэла, Испания, Уругвай и, наконец, Чили) некоторые важные положения пактов так никогда и не были воплощены, тем не менее сами эти пакты сыграли громадную роль**.

На наш взгляд, споры о том, приложима ли модель “пакта” к посткоммунистическому транзиту, обусловлена различиями в понимании концепта тоталитаризма. Если тоталитаризм подразумевает отсутствие автономных негосударственных акторов, гражданского общества и экономической дифференциации, а также сглаживание или подавление этнических противоречий, то при таком режиме действительно вряд ли могут сложиться крупные и жизнеспособные группы борцов за демократию, а следовательно — правящим элитам не с кем заключать пакт. Но, как нам кажется, к большинству стран ЦВЕ и БСС концепт тоталитаризма уже неприменим, а в некоторых из них тоталитаризма в строгом смысле

* Такую точку зрения отстаивает, в частности, Б.Арфи [см. Arfi 1998].

** Эту особенность пактов хорошо уловила М.Кастл, образно назвавшая длительный переговорный процесс в Польше “успешным провалом”. В свою очередь, К.Коллинз обращает наше внимание на то, что межэлитные “пакты” могут заключаться и с целью *предотвратить* демократизацию. Но в этом случае речь уже будет идти об изменениях в рамках режима, а не о переходе от одного режима к другому.

слова, возможно, никогда и не было. Поэтому, хотя в коммунистических обществах не так уж часто возникали такие хорошо организованные оппозиционные движения, как Солидарность, там существовали (и существуют) различные “латентные группы”, лидеры которых могут выступать от имени стратегически важных секторов населения и обеспечивать их лояльность при заключении пакта. Даже в Чехословакии, где действовала одна из наиболее репрессивных (по меркам ЦВЕ) коммунистических систем, в последний момент представители рушащегося режима сумели найти тех, с кем вступить в переговоры. Можно спорить, когда в том или ином случае начался процесс торга, действительно ли он привел к заключению пакта и в какой мере этот пакт соблюдался, но имеется масса свидетельств того, что пакты заключались и играли важную роль — по крайней мере, в некоторых посткоммунистических транзитах.

ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ФОРМА ТРАНЗИТА?

После начала посткоммунистических режимных изменений одним из главных аргументов против транзитологического подхода к их анализу стали ссылки на то, что форма транзита не сказывается на его результатах. Вопреки всем ожиданиям значительное число политий ЦВЕ и БСС так или иначе пришли к демократии, причем, судя по всему, их успех никак не зависел от формы транзита! Если вынести за скобки случаи “навязанной” демократизации, то можно констатировать, что в посткоммунистическом мире, в отличие от других регионов, оказалось не столь уж важным, стал ли демократический транзит результатом договоренностей между сторонниками “мягкой” линии среди правящей элиты, с одной стороны, и умеренной политической оппозицией — с другой, или же старый режим был вынужден отступить вследствие мобилизации широких масс населения. Таким образом, адекватность предположения о том, что форма транзита влияет на дальнейшее развертывание процессов демократизации (а его разделяли многие из нас [см., напр. Karl, Schmitter 1991; Valenzuela 1992; Linz, Stepan 1994]), была поставлена под сомнение — во всяком случае, когда речь идет о перспективах сохранения демократии.

Однако впервые подобного рода критика прозвучала применительно к странам Юга. Исследования демократизации уже давно показали, что вне зависимости от типа транзита демократии оказываются устойчивыми (или терпят крушение) совсем не по тем причинам, по которым возникли. Это очень важное заключение, но судить о результатах транзита по устойчивости новых режимов — значит неоправданно сужать проблему, ибо существует множество видов равновесия, позволяющих сохраняться “минимальным” или “неконсолидированным” демократиям. Даже если форма транзита никак не отражается на “выживании” подобных демократий, имеется достаточно фактов, свидетельствующих о том, что она во многом определяет выбор конкретных институтов и — тем самым — характер формирующейся демократии. Иными словами, при выделении другой зависимой переменной, форма транзита может получить принципиальное значение*. Более того, есть основания утверждать, что форма транзита влияет на “качество” демократии, а потому вывод о том, что при анализе режимных изменений этот фактор можно игнорировать, преждевременен.

ПОСЛЕ ТРАНЗИТА: КАЧЕСТВО ДЕМОКРАТИИ В ЦВЕ И БСС

Большинство специалистов по новым демократиям, в т.ч. “восточным”, согласны с Д.Растоу в том, что дальнейшую судьбу демократического режима определяют совсем иные факторы, нежели те, которые обусловили его появ-

* Лучшие иллюстрации данного тезиса можно найти в страновых исследованиях, в частности — в работах Т.Сиска по Южной Африке.

ление. Но на этом их консенсус по поводу теоретических моделей заканчивается. Именно потому так сложно оценить степень универсальности концепта консолидации (не сводимой к длительности, стабильности или выживанию) демократии и объяснить то внимание, которое уделяется в последнее время качеству таковой. Возьмем, к примеру, понятие консолидации, к которому прибегают некоторые теоретики транзита при осмыслении постпереходных реалий [см. Schmitter 1995]. Оно используется в столь разных значениях и при решении столь разных задач, что утратило (если вообще когда-то имело) значительную часть своей концептуальной определенности. Дело дошло до того, что по меньшей мере один из авторов работы “Переходы от авторитаризма” [Transitions 1986] высказался за полный отказ от его употребления*.

Вместе с тем налицо и тенденция к сужению понятия консолидации, сведению его к простому индикатору устойчивости и длительности существования демократического режима. Центральным здесь является вопрос: почему одни демократии более стабильны (или сохраняются дольше), нежели другие? И хотя многие авторы сходятся в том, что для консолидации демократии требуется нечто совсем иное, чем для развертывания транзита, на этот вопрос даются самые разные и зачастую противоречивые ответы. Некоторые утверждают, что к нестабильности демократии приводит чрезмерный социальный плюрализм; другие делают акцент на силе гражданского общества или политических партий; третьи придают решающее значение неолиберальным экономическим реформам, последовательность проведения которых оказывает позитивное (или негативное) влияние на устойчивость демократии; по мнению четвертых, демократия погибает, если неравенство слишком мало или слишком велико; пятые указывают на то, что шансы на сохранение демократии падают в случае ослабления или распада государства, и т.д. Единственное, что признается всеми, — это высокое значение уровня экономического развития как фактора устойчивости демократии (но не условия начала режимных изменений)**. Если в общую формулу оценки новых демократий включить такой показатель, как качество демократии, то применить ее будет еще сложнее, поскольку концептуальное осмысление данного показателя и разработка методов его измерения пока находятся в самой начальной стадии.

Исследователи “восточных” транзитов, в отличие от специалистов по другим “демократизирующимся” регионам, по сути так и не приступили к серьезному изучению этих сюжетов — возможно потому, что считают преждевременным их обсуждать. Посткоммунистическим странам, полагают они, еще предстоит консолидировать свои режимы, и только когда это произойдет, можно будет судить о тех условиях, которые позволили достичь такого результата, и о “качестве” сложившихся демократий. Однако, на наш взгляд (который, будучи взглядом стороннего наблюдателя, может показаться излишне оптимистичным), многие страны ЦВЕ и БСС достигли уровня консолидации, и потому уже сейчас можно оценить то, что в конечном счете у них получилось. Как это ни прискорбно, но режимные изменения в большинстве стран региона закончились. “Второго транзита” не ожидается (во всяком случае, в обозримом будущем), и все последующие институциональные и поведенческие сдвиги, скорее всего, будут носить уже “внутридемократический” характер, т.е. означать переход от одного типа демократии к другому. Подобно тому, как это было в Латинской Америке и Азии (но не в Африке или на Ближнем Востоке), *путь к демократии оказался гораздо более простым, чем думалось вначале, но не таким прямым, как надеялись его поборники, и не таким опасным, как боялись его противники*. Это в равной мере справедливо как по отношению к странам ЦВЕ, так и применительно к республикам БСС. Быть может, именно по этой причине многим исследо-

* Имеется в виду Г.О’Доннелл. — Пер.

** Последнее не относится к странам — экспортерам нефти.

вателям так не нравится концепция консолидации, и они не желают принимать всерьез проблему качества демократии. Немало политических акторов и аналитиков рассматривали демократию как великое завоевание, значимое само по себе. Когда же начало выясняться, чем в действительности является демократия и, особенно, чем она не является, что она может дать, а что — нет, многим (и не только на Востоке) стало казаться, что возникшая система, которая, поже, уже не изменится, не имеет права носить это славное имя.

Поскольку данная тенденция характерна для всех регионов, мы не видим оснований для использования при оценке “южных” и “восточных” транзитов разной системы показателей. Все новые демократии следует оценивать по одним критериям, причем эти критерии должны исходить из “реально достижимого”, а не из тех идеальных норм, которые не воплощены пока даже в самых высокоразвитых демократиях и для приближения к которым могут потребоваться века. Иными словами, граждане, наделенные равными правами, могут обладать неодинаковыми ресурсами или неодинаковым доступом к власти; не всегда удается обеспечить и полное соблюдение конституционных гарантий на всей территории страны и на всех уровнях социальной структуры. Различия в доходах и уровне жизни могут быть настолько значительными, что средние показатели по стране будут слабо отражать реальное положение вещей. На распределение политических “благ” могут влиять личные, семейные и клановые связи. Не все граждане утруждают себя голосованием, не говоря уже об участии в деятельности политических объединений, движений и партий. Не всем избирателям нравятся предлагаемые им на выборах альтернативы. Не все граждане доверяют правительству и политикам своей страны. Не все кандидаты располагают доступом к одним и тем же материальным ресурсам. Не все победители в равной степени подотчетны своим избирателям. Не все чиновники считают себя обязанными реагировать на требования граждан, и при принятии и воплощении политических решений они зачастую руководствуются не только интересами общества. Не все правительства пользуются поддержкой большинства граждан и пытаются ее сохранить.

Если бы дело обстояло по-другому, качество демократии, безусловно, было бы выше, но, глядя правде в глаза, приходится признать, что эти, мягко говоря, не лучшие черты присущи практически всем реально существующим “современным либеральным представительным демократиям”. Таким образом, пытаясь оценить результаты недавних режимных изменений на Востоке (впрочем, это в равной мере относится и к “южным” транзитам), мы должны постоянно иметь в виду, что исследуем скорее “наметившиеся тенденции”, нежели “достигнутые цели”.

И по ходу анализа таких тенденций, мы, вероятнее всего, наткнемся на то, что испанцы называют *desencanto* (разочарование). Данный феномен характерен практически для всех новых демократий — вне зависимости от региона и отправной точки транзита. Обретя свободу, их граждане далеко не всегда с энтузиазмом смотрят на плоды своих совместных усилий (или, как это тоже бывает, на то, что внезапно на них обрушилось). Надежда, что им удастся выработать “гражданскую политическую культуру” наподобие американской или британской, похоже, является тщетной. Опросы общественного мнения, проводившиеся в процессе транзита и после его завершения, свидетельствуют скорее о наличии “циничной политической культуры”, что, однако, отнюдь не обязательно чревато смертельной угрозой для демократии. По мере роста образованности и информированности граждан, а также их восприимчивости к происходящему в других странах, возрастает и их требовательность по отношению к политическим институтам собственной страны. Политика профессионализируется, и политики начинают все сильнее отличаться от своих избирателей и сторонников по жизненному опыту; обсуждаемые вопросы становятся все более сложными, и их решение оказывается связано со скрытыми уступками и поиском компромиссных вариантов. Кроме того, в условиях усилившейся взаимоза-

висимости государств реализация запросов граждан все меньше зависит от национальных лидеров. Критическое отношение массовых групп населения к своим лидерам, представление о том, что при демократии расцветает коррупция, и даже ностальгия по старому режиму присущи не только посткоммунистическим полitiesям. Все это присутствует и в странах Юга (или, точнее, подобные установки частично пересекаются с теми, которые существуют в этих странах) и несет с собой не большую опасность возвращения к автократии, чем на Востоке. С точки зрения теории консолидации, решающее значение для судеб демократии имеет не разочарование или цинизм общественного мнения, а то, способны ли политики и рядовые граждане сотрудничать и конкурировать между собой свободным и предсказуемым образом на основе приемлемого для всех набора правил. Когда в “частичных” режимах закрепляется такая система отношений, они превращаются в “современные либеральные представительные демократии”. Впоследствии там может возникнуть и подкрепляющая этот порядок политическая культура (хотя, возможно, и не настолько “гражданская”, как в Англии и Америке), что приведет к повышению качества демократии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: НОВАЯ ВОЛНА?

Из предположения о “восточноевропейской исключительности” с очевидностью вытекает, что изменения режимов в посткоммунистических странах и попытки установить там демократию должны трактоваться как новая волна демократизации*. Делая такой вывод, исследователи тем самым фактически утверждают, что какие бы концепты, допущения и гипотезы ни использовались для описания и объяснения предыдущей волны, они уже утратили свою силу и должны быть отброшены или, по крайней мере, переосмыслены. Весь смысл выделения подобных волн заключается в их “историзации”, т.е. в том, чтобы установить, с какой конкретней констелляцией факторов связано их появление в тот или иной исторический момент, и затем объяснить, какие диффузионные механизмы расширяют “радиус действия” волны и толкают ее вперед. Возможно, культурная обусловленность демократизации имеет свои пределы, но это — не универсальный процесс, который всегда происходит при одних и тех же внутренних и внешних условиях. По крайней мере у двух более ранних волн был общий “детонатор” — крупномасштабная и длительная международная война. Судя по всему, сторонники теории “восточноевропейской исключительности” исходят из того, что в случае посткоммунистических транзитов аналогичную роль сыграл распад Советского Союза и его империи

* Мы не хотим придирается к цифрам, но заметим, что Макфол не прав, называя “открытую” им волну демократизации “четвертой”, ибо это “место” уже занято. Судя по всему, этот автор слепо принимает тезис С.Хантингтона о том, что процессы демократизации, развернувшиеся после 1974 г., образуют “третью волну”. Как нам приходилось уже говорить, этот тезис ошибочен как с концептуальной, так и с эмпирической точки зрения. Его концептуальная несостоятельность связана с тем, что метафора волны может иметь хоть какой-то смысл только в том случае, если речь идет о чем-то спрессованном во времени и согласованном по воздействию — прибывающем, а затем с некой каузальной вероятностью идущем на спад. Но хантингтоновская так наз. “первая волна” тянулась с 1829 (или даже с 1776) по 1926 г. — абсурдно долгий период! Абсолютно невозможно себе представить, чтобы все процессы демократизации (и контрдемократизации), происходившие в мире на протяжении этих 100 или 150 лет, влияли друг на друга. В аналитическом плане гораздо более правдоподобным выглядит предположение, что в эти годы многие страны двигались к демократии “сами по себе”. В свою очередь, эмпирическая ошибка обусловлена тем, что имеются веские основания для выделения совсем других периодов, когда режимные изменения во многих странах действительно осуществлялись относительно синхронно, а их взаимовлияние было очевидным: (1) весна свободы 1848 — 1852 гг.; (2) годы непосредственно перед и после первой мировой войны; (3) период после второй мировой войны, включая деколонизацию 1960-х годов. Отсюда следует, что волна демократизации, начавшаяся с 1974 г., была четвертой, а соответственно — макфоловская “волна” должна считаться пятой, если, конечно, удастся убедительно доказать, что она отличается от предыдущей.

и этого достаточно, чтобы отделить нынешнюю волну от предыдущей (развертывавшейся с 1974 г.), когда подобного общего “детонатора” — ни внутреннего, ни внешнего — не было.

Обосновывая правомерность идентификации посткоммунистических транзитов в качестве особой волны, Макфол и его единомышленники ссылаются на то, что эти транзиты носили революционный характер, в то время как на юге Европы и в Латинской Америке они якобы были сугубо эволюционными. Нам сложно согласиться с таким обобщающим определением трансформаций, осуществленных в странах ЦВЕ и БСС, и потому противопоставление их режимным изменениям в Южной Европе и Латинской Америке нам кажется теоретически и эмпирически неверным. Несмотря на масштабность перемен, преимущество между ситуацией, имевшей место в посткоммунистическом мире до перелома, и той, которая сложилась после него, гораздо выше, чем это предполагает революция. И дело здесь не только в слабой распространенности утопических идей или относительной редкости случаев насилия (в т.ч. покушений на права собственности) и широкой мобилизации, но и в том, что многие (а быть может — большинство) сторонников старого коммунистического режима остались в своих странах и сумели сохранить значительную часть (если не все) своих материальных и политических ресурсов. Попробуйте представить себе, скажем, что через десять лет после Войны за независимость в Америке мирно приходит к власти “пробританская партия”, или что в 1800 г. монархисты со всеобщего согласия берут на себя управление Францией, или что в 1979 г. последователи Батисты выигрывают выборы на Кубе! После “настоящей” революции такое абсолютно невозможно, так как к моменту ее завершения подобные акторы либо бывают лишены имущества, полностью дискредитированы или даже убиты, либо находятся в изгнании. В странах ЦВЕ и БСС сложилась совсем иная ситуация. В некоторых, а точнее — во многих из них силы, потерпевшие поражение в “противостоянии”, вскоре смогли вернуться к власти, воспользовавшись оставленными в их распоряжении ресурсами (личными и корпоративными). Если в рассматриваемом регионе действительно произошли революции, то это были скорее революции “сверху” или “изнутри”, чем “снизу”.

Данное заключение полностью вписывается в общую модель. В свое время нами (совместно с О’Доннеллом) было высказано предположение, что одним из (непризнанных) принципов южноевропейских и латиноамериканских транзитов была неоспоримость имущественных прав буржуазии. Что же касается посткоммунистических стран, то там, за редкими исключениями, похоже, действовал принцип (почти полной) неоспоримости претензий *номенклатуры* на частную собственность. Если это так (и если реализация этого принципа строилась на негласном корпоративном договоре между правящей элитой и оппозицией), то различия между “волнами” становятся куда менее очевидными. Кроме того, с учетом этого обстоятельства, гораздо легче объяснить, почему и на Юге, и на Востоке откатное движение назад к автократии было намного слабее, чем ожидалось. И в политическом, и в экономическом смысле автократы в большинстве случаев потеряли существенно меньше, чем опасались, а потому у них было не так уж много стимулов бороться за возвращение к прежнему положению вещей или чему-то похожему на него.

В связи с вышесказанным напрашивается и другая гипотеза, еще в большей степени идущая вразрез с устоявшимися представлениями. Как уже отмечалось, главным аргументом в пользу “восточноевропейской исключительности” является тезис о том, что в посткоммунистических условиях якобы гораздо сложнее изменить режим, а этот тезис, в свою очередь, строится на постулате об одновременности преобразований (*simultaneity*). Принято считать, что при “трехмерном” или “четырёхмерном” транзите/трансформации труд-

нее достичь стабильного результата, особенно — демократического. Но что если одновременность преобразований была преимуществом, а не недостатком? Что если параллельное решение задач, связанных с переходом к капиталистической системе хозяйствования, утверждением демократических порядков и обретением нового международного статуса, открывает более широкий спектр возможностей, нежели обычный “эволюционный” транзит, и потому облегчает торг по поводу распределения потенциальных благ среди конфликтующих групп — как правящей элиты, так и оппозиции?*

Первым аналитиком, высказавшим подобную гипотезу, был, по всей видимости, Карл Маркс. В его “18 Брюмера Луи Бонапарта” отмечается, что французская буржуазия, поддержав Наполеона III, предпочла пожертвовать своим правом на власть (как класс), дабы сохранить возможность обогащаться (в качестве индивидов). Не напоминает ли это тот выбор, который был сделан *номенклатурой* из гражданских служб и силовых структур в посткоммунистическом контексте? Именно вследствие “трехмерности” транзита перед представителями правящего режима с их управленческим опытом и международными связями открылись новые возможности, а потому они оказались готовы забыть — по крайней мере, на время — о своих претензиях на политическое господство, чтобы обрести капитал и статус. Только такая стратегия и могла принести успех — разумеется, *при условии*, что новые правители, занявшие властные посты по итогам выборов, не будут преследовать своих предшественников, в свое время попавших на эти посты в результате бюрократического отбора, за те преступления, которые они совершали, находясь у рычагов власти, и не станут оспаривать их претензии на “преобразованную” собственность внутри страны и за ее пределами.

“Южные” транзиты отличались от “восточных” тем, что в этом случае достаточные взаимные гарантии мог обеспечить лишь пакт, заключенный путем открытых переговоров, — возможно, потому, что в странах Юга было меньше параллельных трансформаций, открывающих пространство для сделки, или же вследствие более значимой (и потенциально опасной) роли военных. В странах ЦВЕ и некоторых республиках БСС сотрудничество, похоже, достигалось более неформальными средствами, а именно путем негласных договоренностей, подразумевавших, что победители откажутся от “ретроспективного” правосудия и не будут ставить под сомнение право проигравших на государственную собственность (и чересчур дотошно проверять обоснованность их притязаний на нее). При сравнении “восточных” транзитов с “южными” бросается в глаза поразительный факт: ни в одной из посткоммунистических политий (конечно, за исключением ГДР) не получила сколько-нибудь широкого распространения практика судебного преследования лиц, виновных в нарушении основных прав человека, и даже не было организовано комиссий по выявлению подобных фактов. Нам не известно ни одного случая, когда бы высокопоставленному чиновнику было запрещено вернуться на государственную службу. Практически повсеместно представители бывшей высшей номенклатуры сумели сохранить и даже увеличить свои капиталы, продолжая спокойно жить в стране, которую еще недавно держали в ежовых рукавицах.

Мы подозреваем, что все это стало возможным лишь благодаря имплицитному или негласному “пакту”. Более того, бывшие коммунисты не только оказались хорошо защищены индивидуально, но и смогли удивительно быстро вернуться к власти коллективно, пусть и в “реформированном виде”. По-

* N.B. Мы говорим о ситуации “трехмерных”, а не “четырёхмерных” транзитов, при которых требуется одновременно решать и вопросы национальной идентичности, а также государственных границ.

требовалось совсем немного времени, чтобы в большинстве посткоммунистических стран они стали демократически избранным правительством!*

* * *

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что происходящее в ЦВЕ и БСС при всей своей специфике не является чем-то абсолютно уникальным. Действительно, на наших глазах рухнула империя, а вместе с ней — и особый тип автократии, а также экономическая система, не имевшая аналогов нигде в мире (если не считать Кубу). Но там, где насилие и злоупотребления приняли наибольший размах, новым демократиям приходится бороться (успешно или безуспешно) с безнаказанностью нарушителей закона и преодолевать наследие прошлого — как и в других регионах. Там, где коррупция особенно распространена, важнейшей задачей, как и в других регионах, становится установление власти закона. Там, где сильнее всего притеснялись меньшинства, выдвигавшие в ходе транзита новые требования, в центре политических дискуссий находятся их права, приверженности и обязанности — как и в других регионах. Там, где государство и бюрократический аппарат сложились до начала демократизации и не были поколеблены ею, новый режим, как правило, более устойчив — как и в других регионах. Там, где гражданское общество отсутствовало или было слабым и фрагментированным, ему приходится укрепляться одновременно с институтами власти — как и в других регионах. Мы отнюдь не хотим сказать, что страны ЦВЕ и БСС ничем не отличаются от других стран, недавно переживших режимные изменения. Но мы настаиваем на том, что сходство между ними достаточно велико, чтобы формулировать концепты, посылки и гипотезы, тестировать их и подтверждать или опровергать, опираясь, по возможности, на весь накопленный опыт, относящийся ко всем регионам мира.

26

- Arfi B. 1998. Democratization and Communal Politics. — *Democratization*, vol. 5, № 3. "Axis of Evil". Feared in Latin America. 2002. — *Financial Times*, 23.10.
- Beyme K., von. 1996. *Transitions to Democracy in Eastern Europe*. N.Y.
- Bratton M., Walle N., van de. 1997. *Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in Comparative Perspective*. N.Y.
- Bunce V. 1999. *Subversive Institutions: The Design and the Destruction of Socialism and the State*. N.Y.
- Bunce V. 2000. Comparative Democratization: Big and Bounded Generalizations. — *Comparative Political Studies*, vol. 33, № 6-7.
- Diamond L., Linz J.J., Lipset S.M. (eds.) 1986. *Democracy in Developing Countries*. Boulder.
- Drake P., Silva E. (eds.) 1986. Imposing Consent: Electoralism versus Democratization in El Salvador. — *Elections in Latin America*. San Diego.
- Guilhot N., Schmitter Ph. 2000. De la transition à la consolidation. Une lecture retrospective des democratization studies. — *Revue Française de Science Politique*, vol. 50, № 4-5.
- Haggard S., Kaufman R.R. 1995. *The Political Economy of Democratic Transitions*. Princeton.
- Karl T.L. 1990. Dilemmas of Democratization in Latin America. — *Comparative Politics*, vol. 23, № 1.
- Karl T.L. 1995. The Hybrid Regimes of Central America. *Journal of Democracy*, № 3.
- Karl T.L. 2000. OPEC Lessons for Caspian Leaders. — Ebel R., Menon R. (eds.) *Energy, Weapons Proliferation and Conflict in Central Asia and the Caucasus*. Baltimore.
- Karl T.L., Schmitter Ph. 1991. Modes of Transition in Southern and Eastern Europe, Southern and Central America. — *International Social Science Journal*, May.

* Исключением в этом смысле является разве что Чехия — одна из тех немногих стран, где старый режим был низложен "снизу", в результате широкой мобилизации, и где стоявшие у власти коммунисты сопротивлялись либерализации вплоть до того момента, когда были свергнуты. Новые демократические лидеры, как нам кажется, попытались избавиться ("defenestrate") от всех высокопоставленных представителей номенклатуры и даже заложить основы новых отношений собственности посредством ваучерной приватизации, по-видимому, рассчитывая тем самым минимизировать их роль в экономике. Судя по всему, эти усилия не увенчались успехом, но все же Чехия оказалась единственной страной ЦВЕ, где бывшая коммунистическая партия, даже переименованная, не играет заметной политической роли.

- Linz J.J., Stepan A. 1994. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post communist Europe*. Baltimore.
- Mahoney J. 2000. Knowledge Accumulation in Comparative Historical Analysis: The Case of Democracy and Authoritarianism. — *Comparative Historical Analysis*. Harvard.
- McFaul M. 2001. *The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship*. Paper prepared for the Annual Meeting of the American Political Science Association. San Francisco.
- Munck G.L., Leff C.S. 1997. Modes of Transition and Democratization: South America and Eastern Europe in Comparative Perspective. — *Comparative Politics*, vol. 29, № 3.
- Offe C. 1997. *The Eastern European and East German Experience*. Cambridge.
- Rose R. (ed.) 2000. Electoralism: Why Elections are not Democracy. *The International Encyclopedia of Elections. Congressional Quarterly Books*. Washington.
- Schmitter Ph. 1994. The Conceptual Travels of Transitologists and Consolidologists: How Far East Should They Attempt to Go? — *Slavic Review*, vol. 53, № 1.
- Schmitter Ph. 1995. From an Iron Curtain of Coercion to a Paper Curtain of Concepts: Grounding Transitologists or Confining Students of Postcommunism? — *Slavic Review*, vol. 54, № 4. *Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy*. 1986. Baltimore, L.
- Valenzuela J.S. 1992. Democratic Consolidation in Post-Transitional Settings: Notions, Process, and Facilitating Conditions. — Mainwaring S., O'Donnell G. Valenzuela J.S. (eds.) *Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective*. South Bend.

27

ПОЛИС

1'2001

Политические
Исследования

Научный и культурно-просветительский журнал

Издается с 1991 г.

Выходит 6 раз в год

№ 1 (60) 2001

**Юбилейный номер —
десятилетие выхода в свет
журнала “Полис”**

POLIS

www.politstudies.ru

Political Studies

ПОСТСОВЕТСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

Заброски к теории

З.Я. Гельман

Принято считать, что наиболее продуктивное осмысление политических процессов в конкретных обществах, странах и регионах рождается на пересечении двух отраслей знаний о политике — сравнительной политологии и этрановедения. Взаимодействие этих отраслей при изучении советской и постсоветской политики развивалось непросто: если в 1960 — 1980-е годы советологи во многом заимствовали подходы, разработанные компаративистами [см. Almond 1990], то в первой половине 1990-х годов проблема совместимости претендующих на универсальность концепций с посткоммунистической реальностью стала предметом острой полемики [см. Schmitter, Karl 1994, 1995; Bunce 1995a, 1995b]. К началу 2000 г. эти дебаты, похоже, исчерпаны: анализ постсоветской политики в сравнительной перспективе становится преобладающим. Изучение отдельных аспектов политического развития России и других стран, возникших на территории бывшего СССР, в рамках корпуса теорий сравнительной политологии — идет ли речь о федерализме [Stepan 1999], партийной системе [Голосов 1999] или электоральном поведении [Colton 2000] — действительно открывает перед исследователями значительные познавательные возможности. Однако при анализе трансформации политического режима в постсоветских обществах дело обстоит иначе. Попытки обойтись при описании постсоветской политики категориями типа “гибридный режим” [см. Гельман 1999a; Мельвиль 1999] или “делегативная” [O'Donnell 1994] и прочие “демократии с прилагательными” [Collier, Levitsky 1997] немного добавляют к констатации того факта, что Россия и другие постсоветские общества находятся по ту сторону общепринятых представлений о “переходах к демократии” (см. Solnick 1999). Самым выразительным свидетельством кризиса теоретических подходов к анализу постсоветской трансформации стало проведение осенью 1999 г. на ежегодной конференции Американской ассоциации политических наук круглого стола под названием “Россия как сравнительный случай... чего?” (“Russia as a Comparative Case ... of What?”) [см. Political Science and Politics 1999].

15

Такая постановка вопроса заставляет вернуться к классификации исследований случаев, предложенной А.Лейпхартом [Lijphart 1971]. Помимо атеоретических и интерпретативных работ, а также исследований случаев, подтверждающих либо опровергающих существующие теории, ученый выделяет изучение “генерирующих гипотезы” (hypotheses-generating) и как отдельный вариант — отклоняющихся случаев. Последние два подхода не только открывают возможность выявления факторов, ответственных за специфику данных случаев, но и позволяют перейти от простого тестирования существующих теорий к построению новых, т.е. тем самым выйти из познавательного тупика бесплодных разговоров на тему “умом Россию не понять” (это — смотря чьим умом!), сделать шаг в развитии “исследовательского цикла” [Skocpol, Somers 1980] изучения постсоветской политики.

Понятно, что решение подобных задач выходит за рамки отдельно взятого текста: оно требует усилий международного научного сообщества. В этой статье я лишь поставлю ряд вопросов, связанных с концепциями демократии и

ГЕЛЬМАН Владимир Яковлевич, кандидат политических наук, доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге.

демократизации, и попытаюсь найти на них ответы в свете опыта политического развития постсоветских стран. Для этого в работе будут: а) рассмотрены познавательные перспективы моделей демократии в постсоветском обществе; б) проанализированы объяснительные возможности различных подходов к изучению демократизации; в) определены специфические характеристики процесса трансформации политических режимов в пост-СССР; г) сформулированы некоторые суждения о том, как (и отчасти — почему) происходит становление политической конкуренции и политических институтов в постсоветском пространстве; д) намечены отдельные соображения по поводу исследовательской повестки дня.

ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ: ДЕМОКРАТИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Как ни парадоксально, но 30-летний опыт исследования “переходов к демократии” как самостоятельного направления политической науки (со времени публикации статьи Д.Растоу “Переходы к демократии: попытка динамической модели” [Rustow 1970]) трудно назвать особо продуктивным в отношении изучения собственно демократии. Транзитологи обычно принимали то или иное определение предполагаемой “точки прибытия” процесса перехода практически по умолчанию и без дискуссий [Merkel 1998: 33-35], не задаваясь вопросом о том, в какой мере данное теоретическое построение применимо к изучению обществ в процессе трансформации (вероятно, неприменимых концепций в принципе не существует) и что нового оно позволяет узнать о предмете исследования. Между тем совершенно очевидно, что в свете постсоветской практики наиболее распространенные в литературе модели демократии выглядят недостаточными.

16

В самом деле, используя известную классификацию Д.Хелда [Held 1996], можно говорить о том, что подавляющее большинство теоретиков “переходов к демократии” явно [см., напр. Huntington 1991; Schmitter, Karl 1991] или неявно ориентируются на одну из двух концептуальных схем: 1) “соревновательный элитизм” в шумпетеровском варианте, при котором единственным критерием демократии по сути оказывается замещение правительственных должностей через свободные и справедливые выборы [Шумпетер 1995: 355]; 2) плюралистическую модель “полиархии” по Р.Далю, в рамках которой главными измерениями политического режима являются “состязательность” и “участие” [Dahl 1971: 2-6], а основными индикаторами демократии — набор гражданских и политических прав и свобод. Ряд теоретиков “перехода к демократии” проводят также дополнительное различие между “минималистским” (процедурным) и “максималистским” (содержательным) наполнениями демократии [см., напр. O'Donnell 1994, 1996, 1998; Diamond 1999] и фиксируют внимание на уровне консолидации новых демократий [Linz, Stepan 1996; Merkel 1998], но очевидно, что для постсоветских обществ эта проблема — по крайней мере, пока — не актуальна, и в дальнейшем в данной работе речь будет идти лишь о “минималистских” аспектах демократии, не затрагивающих, в частности, такие составляющие проблемы, как приверженность демократическим ценностям в массовом сознании и т.д.

Идеалтипический характер обеих указанных моделей создает немалые методологические проблемы при операционализации используемых понятий и измерении конкретных показателей [см., в частности Bollen 1991; Beetham 1994; Fish 1998]. Ни одномерную схему Шумпетера, ни двумерную Далия нельзя свести к бинарным характеристикам — например, в случае России, где из восьми перечисленных Далем индикаторов прав и свобод в той или иной мере “работают” чуть больше половины [см. Гельман 1998; Brown 1999]. Даже простой электоральный тест “свободных и справедливых выборов” не вполне релевантен в эпоху “политических машин” и “партий власти”, когда результаты голосования — даже при наличии конкуренции — во многом обу-

ловливаются потенциалом административной мобилизации масс правящими группами, не говоря уже о систематическом неравенстве условий ведения кампании; как это было в ходе президентских выборов 1996 г. [см. Treisman 1996, 1998; McFaul 1997; Gel'man, Elizarov 1999]. В ситуации, когда выборы не являются механизмом смены власти и не влияют сами по себе на выработку политического курса, их значение имеет качественно иной характер, нежели в рамках шумпетеровской модели. В предельном случае выборы оказываются неконкурентными (инкумбент получает свыше 70% голосов) [см. Vanhanen 1997], однако возможно и создание в рамках правящей группы своего рода "минимально выигрышной коалиции", которая (вкуче с административной мобилизацией) способна обеспечить действующему носителю "верховой власти" переизбрание при любых обстоятельствах и не допустить смены власти в случае победы "неправильного" кандидата. Речь в данном случае идет не о либеральной критике "электорализма" [см., напр. O'Donnell 1994, 1996; Diamond 1999], согласно которой выборы признаются хотя и необходимым, но явно недостаточным условием демократизации, а о том, что они вообще могут не иметь отношения к демократии, т.е. к электоральной состязательности (по крайней мере, исход этого состязания известен априори). Критерий "свободных и справедливых выборов" непригоден для анализа такого рода явлений — даже с учетом поправки на возможные промежуточные варианты типа "свободных, но несправедливых" выборов [см. Гельман 1999а: гл. 4] "с частичной фальсификацией" [см. Coppedge, Reinicke 1991:49] и проч.

Ненамного больше пользы для осмысления постсоветских переходов приносит и использование двумерной схемы Дала, в которой состязательность дополняется другим измерением — массовым политическим участием, трактуемым прежде всего как право избирать и быть избранным [Dahl 1971: 4]. Разумеется, при историческом анализе становления демократии роль утверждения всеобщего избирательного права очевидна. Но для изучения политики в постсоветских странах с их наследием мобилизованного участия масс (по Далю — "инклюзивная гегемония") в неконкурентных выборах такой подход не прибавляет ничего принципиально нового, что фактически было показано еще в советскую эпоху [Coppedge, Reinicke 1991: 63-66]. Что же касается более сложных (и модных) схем, трактующих политическое участие в связи с "гражданственностью", "социальным капиталом" и прочими "правильными" атрибутами демократии [Putnam 1993], то их релевантность по отношению к обществам с развитым клиентелизмом — к каковым относятся и пост-СССР [см. Афанасьев 1997] — представляется сомнительной. Дело не только в том, что постсоветский период привел к незначительным изменениям в политическом участии (помимо электорального) и политический активизм в России во многом просто "унаследован" [см. McAllister, White 1994]. Возникновение электоральной политики в форме "политических машин" как инструмента массовой мобилизации и политического контроля взамен прежнего партийного господства [см. Врие 1997] фактически подрывает "гражданское" участие, подменяя его обменом ресурсами — примером тому может служить поддержка региональными властями "правильных" организаций "третьего сектора" в обмен на политическую лояльность с их стороны [см. Белокурова 2000]. Иначе говоря, явления, внешне напоминающие "гражданственность", приобретают в постсоветском контексте совершенно иное звучание*. Формирование реальной "гражданственности" едва ли возможно до возникновения значительного слоя граждан, автономных (прежде

* Так, активность населения в Новгородской области, по числу общественных объединений на душу населения сопоставимой с Северной (не Южной!) Италией [см. Petro 1999: 243-244], трудно рассматривать как признак демократической "гражданственности" в условиях, когда губернатор-инкумбент, эффективно предотвративший возникновение политической конкуренции, получает 91% голосов на выборах при единодушном одобрении тех самых "гражданских" ассоциаций.

всего — экономически) по отношению к властям; а эта автономия в постсоветский период если не уменьшилась, то, по крайней мере, не увеличилась настолько, чтобы иметь существенное значение. Можно предположить, что в пост-СССР поведение масс еще долго будет отражать прежде всего процессы на уровне элит и в этом смысле о “гражданском участии” говорить пока не приходится (некоторые следствия данного феномена будут рассмотрены ниже).

Хотелось бы подчеркнуть, что, критикуя указанные модели, я имею в виду лишь их недостаточную разрешающую способность для анализа политических процессов в пост-СССР. Следуя таким моделям (например, схеме Далья), исследователь вынужден констатировать, будто Россия переживает переход от “авторитаризма мобилизованного участия” к “состязательной олигархии” [Мельвиль 1999], что, скорее, фиксирует проблему, чем решает ее. Возвращаясь к описанной выше типологии Лейпхарта, можно сказать, что в этом отношении случай пост-СССР не вписывается в рамки исследований, подтверждающих или опровергающих теории демократии. Это означает, что для построения теории постсоветского перехода необходимо рассмотреть особенности данного случая и факторы, ответственные за рассматриваемый феномен.

Усилия исследователей в этом направлении, отраженные в современной литературе, можно условно разделить на три группы. Сторонники первого подхода акцентируют внимание на особенностях “двойного” [Przeworski 1991], “тройного” [Offe 1996: ch. 3] или даже более сложного и многогранного [см., напр. Fish 1996] процесса перехода в странах Восточной Европы и пост-СССР, где стартовые условия демократизации заметно отличались от существовавших в Латинской Америке и Южной Европе [Vunce 1995a, 1995b, 1998]. Не отрицая значимости таких особенностей, следует отметить, что сам по себе их учет не дает ответа на вопрос о принципиальных отличиях переходов в Восточной Европе и пост-СССР. Приверженцы второго подхода, в свою очередь, придают первоочередное значение особенностям истории и культуры России, объявляя постсоветские общества априори непригодными для демократии в силу локальных (“расколота культура” [Ахиезер 1997]) или же глобальных (“столкновение цивилизаций” [Huntington 1996]) причин. Однако подобного рода концепции лежат по ту сторону научного знания, поскольку предлагаемые в их рамках объяснения имеют самодостаточный характер: согласно им, постсоветские общества неспособны перейти к демократии из-за “неправильной” культуры, а “правильная” культура не может там утвердиться при отсутствии демократии [аналогичную критику см. Голосов 1999]. Наконец, третий подход ставит в центр анализа проблемы, связанные с ролью государства в процессе перехода: перефразируя известное высказывание Б.Мура, Линц и Степан выдвинули тезис “нет государства — нет демократии” [Linz, Stepan 1996: ch.2; Stepan 1999]. В данной связи широкое распространение получило определение России и других постсоветских стран как “слабых государств” [см., напр. Волков 1998; McFaul 1998; Solnick 1999; Stoner-Weiss 1999], которым присущи две основные характеристики. Первая из них — существенное ограничение возможностей государства по применению силовых методов принуждения. Иначе говоря, монополия на легитимное насилие со стороны централизованного государства [Волков 1998: 39] подорвана конкуренцией со стороны других акторов (часть которых претендует на то, чтобы выступать от имени “государства”). Другая характеристика — отсутствие верховенства права (rule of law). Последнему феномену, во многом отличающему постсоветские общества от стран Восточной Европы, сопутствуют описываемые в различных работах явления типа “олигархии” и/или “феодализма” [подробный анализ см. Solnick 1999: 805-812], “касикиза” [Кагарлицкий 1999; Matsuzato 1999] и т.д.

Если принять “слабое государство” за точку отсчета, определяющую специфику постсоветских случаев, то при анализе демократии и/или противо-

доставляемых ей иных форм политических режимов необходимо операционализовать такие понятия, как наличие/отсутствие верховенства права*. Очевидно, что на языке неоинституционального подхода [см. North 1990] “верховенство права” будет означать преобладание формальных институтов — или, во всяком случае, готовность основных акторов политического режима следовать универсальным нормам и правилам. В свою очередь, отсутствие верховенства права означает доминирование неформальных институтов, основанных на партикуляристских нормах и правилах (таких, как клиентелизм или коррупция). Оппозицией принципу rule of law выступает принцип arbitrary rule, при котором формальные институты в лучшем случае являются фасадом неформальных или не имеют значения.

В известной мере эта оппозиция формальных и неформальных институтов перекликается с веберовскими идеальными типами рационально-легального господства, с одной стороны, харизматического и традиционного господства — с другой. Однако формальные и неформальные институты не только находятся во взаимной оппозиции, но и очевидно дополняют друг друга: там, где отсутствует rule of law, регулирование происходит через нормы arbitrary rule. Там, где не работают суды и налоговая инспекция, уплата налогов и возврат долгов осуществляются с помощью силового предпринимательства [Volkov 1999]; там, где правительство не подотчетно парламенту, важнейшие решения принимаются не выборными представителями граждан, а в узком кругу “семьи”; там, где политические партии неспособны обеспечить политическую взаимосвязь элит и масс, их функции выполняют основанные на массовом клиентелизме “политические машины” и т.д. Современная постсоветская политика дает немало примеров такого рода замещения формальных институтов неформальными (достаточно вспомнить принятие решения о начале войны в Чечне в 1994 г. или кампанию по переизбранию Б.Ельцина Президентом России в 1996 г.). Очевидно, что даже восстановление монополии на насилие со стороны государства само по себе не решит проблемы преобладания неформальных институтов в постсоветских обществах.

Рассмотрение доминирующего типа институтов в качестве основы различий между “переходами к демократии” (предполагающими установление rule of law) и постсоветскими случаями, в которых — по крайней мере, пока — о выполнении этого условия говорить не приходится, заставляет переосмыслить и типологии политических режимов, предложенные в описанных выше схемах. Так, само понятие “политический режим” здесь следует трактовать функционально — не как форму правления (президентский или парламентский режим) или идеологическое клише (“тоталитарный режим”), но как исчерпывающую совокупность присущих данному политическому образованию акторов (с их ресурсами и стратегиями) и институтов. Подобно тому, как описания игры в теннис и в шахматы отличаются характеристиками игроков, их действий и правил игры, политические режимы могут быть описаны в категориях акторов и институтов. В этом смысле идеальная демократия предстает как конкуренция акторов в рамках формальных институтов, а постсоветский режим с его “административным рынком” [см. Найшуль 1991] — как неконкурентный с прогрессирующим преобладанием неформальных институтов и постепенным замещением ими институтов формальных [об этом процессе см. Solnick 1998]. Следуя данной логике, постсоветские режимы в России и Украине могут быть квалифицированы как конкурентные при доминировании неформальных институтов в отличие от неконкурентных режимов, например, в Беларуси или в Казахстане (где, впрочем, также преобладают неформальные институты).

Разумеется, такого рода классификация порождает новые методологические проблемы, связанные, в частности, с практическим определением ре-

* Здесь и далее в работе использованы материалы исследовательского проекта “Россия регионов” [Гельман, Рыженков и Бри 2000].

ального влияния формальных и неформальных институтов. Но ее использование дает, по крайней мере, возможность поставить следующие вопросы: 1) являются ли нынешние результаты переходов в постсоветских странах “точками прибытия” или же промежуточными этапами этого процесса; 2) каковы причины и следствия различий в переходах уже не между пост-СССР и Восточной Европой, а внутри региона — между постсоветскими странами и отдельными территориями России. В поисках ответа на эти вопросы необходимо обратиться к теориям демократизации.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ИСТОКОВ: ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, КОНКУРЕНЦИЯ И ИНСТИТУТЫ

Концепции смены политических режимов, т.е. фактически демократизации*, принято подразделять на “структурные” [Melville 1999: 168], или “функционалистские” [Hughes 2000: 22-26], и “процедурные” [Melville 1999: 168-169], или “генетические” [Hughes 2000: 26-29], — в зависимости от того, какое значение их адепты придают “объективным” предпосылкам становления демократии. Для “структурного” подхода социально-экономические и социально-культурные предпосылки демократизации имеют определяющий характер, тогда как “генетические” подходы не придают им существенного значения, уделяя основное внимание собственно процессу. Однако и те, и другие оказываются недостаточно эффективным познавательным инструментом при анализе постсоветских переходов.

Структурная концепция, увязывающая демократический политический режим с социально-экономическим развитием общества [Lipset 1959, 1994; обзор эволюции концепции см. Diamond 1992; Lipset, Seong, Torres 1993] и уделяющая в последнее время все большее внимание социальным показателям (таким, как индекс человеческого развития), в известной (хотя и незначительной) мере применима к посткоммунистическим странам [см. Fish 1998]. Однако рассмотрение постсоветских стран (или регионов России) по отдельности не только не позволяет выявить сколько-нибудь значимые взаимосвязи между уровнем их социально-экономического развития и степенью демократизации, но и порождает новые вопросы. В самом деле, как сквозь призму социально-экономического детерминизма объяснить, почему в Беларуси с ее высокими “объективными” социально-экономическими показателями (в частности, с наивысшим индексом человеческого развития в пост-СССР) возник недемократический режим Лукашенко [см. Фурман 1998]? Почему в таких регионах России, как доиндустриальная Калмыкия [Магомедов 1995; Сенатова 1996] и постиндустриальная Москва [Brie 1997], политические режимы почти не отличаются друг от друга в плане отсутствия конкуренции и преобладания неформальных институтов — при том, что в сопоставимых по рассматриваемым показателям Нижегородской [Гельман 1999б] и Свердловской [Gel'man, Golosov 1998] областях они разнятся довольно сильно? Но слабость структурного подхода заключается не только в этом. “Объективные” факторы и предпосылки складываются десятилетиями и действуют на протяжении относительно большого временного интервала, тогда как процесс перехода протекает значительно быстрее. Учитывая, что с момента крушения КПСС прошло менее десяти лет, разрешающая способность подобного рода объяснений применительно к постсоветскому пространству оказывается недостаточной.

Казалось бы, “процедурный” подход, ориентированный на анализ действий акторов в ходе трансформации, призван исправить недостатки “структурного” детерминизма [см. Rustow 1970]. Однако транзитологические схемы не менее уязвимы — в том отношении, что они дают более или менее под-

* Анализ перехода к недемократическим режимам находится на периферии внимания политологов [как исключение см. Linz and Stepan 1978].

обное представление о том, как происходит “переход к демократии” [см. апр. O’Donnell, Schmitter 1986; Huntington 1991; Przeworski 1991), но не способны обоснованно ответить на вопрос, почему же его результаты столь различны. Объяснение причин приобретает у транзитологов окказионально-убъективный характер: например, неудавшийся “переход к демократии” в России связывается с отказом Ельцина провести “учредительные выборы” после крушения власти КПСС [см. McFaul 1995: 226-227; Linz, Stepan 1996: 392-394]. Не говоря уже о том простом соображении, что дождавшиеся в 1991 г. лю власти российские “демократы” не имели рациональных стимулов к проведению выборов [см. Shevtsova 1999], подобная аргументация вызывает в памяти высмеянные Л. Толстым рассуждения о роли насморка Наполеона в исходе Бородинского сражения.

Другим существенным пороком “процедурного” подхода представляется чрезмерное внимание (и преувеличенное значение), которое его сторонники придают одним моделям перехода, прежде всего “пактам”, или соглашениям элит [Rustow 1970; O’Donnell, Schmitter 1986; Higley, Burton 1989; Burton, Guntner, Higley 1992], в ущерб другим. Между тем постсоветский опыт отличается в этом отношении от восточноевропейского (по крайней мере, от опыта Польши и Венгрии с их “круглыми столами” [Linz, Stepan 1996; Elster 1996]). Дело не только в том, что крушение прежнего режима на территории СССР имело, по существу, форму “навязанного перехода” [Karl and Schmitter 1991] в результате коллапса КПСС и союзного государства. Важнее другое: в ряде случаев постсоветские “пакты” были нацелены на ограничение политической конкуренции и повышение роли неформальных институтов* [см. Холодковский 1997; Елизаров 1999; Гельман 1999б; Гельман, Рыженков, Бри 2000), т.е. не просто не способствовали демократизации, а скорее, препятствовали ей**. Однако даже вводя в рассмотрение более широкий спектр вариантов трансформации [Linz, Stepan 1996], в т.ч. связанных с различиями в процессах не только крушения прежних режимов, но и установления новых [Gel’man 1999], транзитология сама по себе оказывается бессильна объяснить причины успеха или неудачи переходов.

Таким образом, перед исследователем, пытающимся осмыслить закономерности постсоветских переходов, встает задача адекватного синтеза рассмотренных (и, возможно, иных***) подходов, способного элиминировать их недостатки. Для решения подобной задачи требуется дать ответ на вопросы, вытекающие из сказанного выше: если трактовать демократизацию как переход к политической конкуренции в рамках формальных институтов, необходимо понять источники возникновения и сохранения обоих этих феноменов.

Несколько проще обстоит дело с поиском оснований политической конкуренции. Ее появление вполне удовлетворительно описывается в рамках известной концепции “структуры раскола”, разработанной в ходе исторического анализа становления современных демократий [см. Lipset, Rokkan 1967; Rokkan 1970]. В первоначальном виде данный подход был призван объяснить формирование массовых баз современных политических партий Западной Европы через изучение социетальных расколов, сложившихся в процессе модернизации, но сразу же подвергся критике за то, что не давал ответа на вопрос, почему одни объективно существующие расколы “транслируются” на уровень конфигурации партийной системы, а другие — нет [Sartori 1990 (1968): 176]. Позднее Роккан дополнил рассматриваемую концепцию, пока-

* Хотя такого рода опыт далеко не уникален [см., напр. Knight 1992; Case 1996], А. Мельвиль называет российский вариант соглашения элит “извращенным” [Мельвиль 1999].

** Аналогом такого рода “пактов” в экономике может служить сговор нескольких фирм с целью монополизации рынка.

*** Представляется, что некоторые подходы (в частности, культуралистские обоснования демократизации) еще в меньшей степени отвечают постсоветской практике, чем структурные и транзитологические модели.

зав, что на стадии формирования конкурентных партийных систем ключевая роль принадлежит политическим элитам — “альянсам политических предпринимателей” и избираемым ими стратегиям мобилизации масс [Rokkap 1977]. Иными словами, если в развитых демократиях политическая конкуренция (по крайней мере, на уровне партийных систем) поддерживается благодаря “замороженным” социетальным расколам, то в процессе демократизации решающее значение имеют расколы элит, создающие базу для политической конкуренции. Особенно велика важность последних для политического развития постсоветских обществ, где относительно слабая выраженность социетальных расколов на уровне идеологических альтернатив [см. Evans, Whitefield 1993; Whitefield, Evans 1999; Дилигенский 1998, 1999] сочетается с высокой зависимостью “массовых клиентел” [Афанасьев 1997] от патронажа со стороны элит*.

Итак, источником формирования политической конкуренции (без которой о демократизации говорить не приходится) в постсоветском обществе служат не “пакты”, а расколы элит**. Однако при использовании данного заключения в качестве “точки отсчета” для анализа необходимо учитывать как минимум два обстоятельства. Во-первых, речь идет не только о конфликтах на уровне отдельных персонажей и конкретных властвующих группировок (типа пресловутой “семьи”), но и о наличии объективных структурных оснований для их возникновения — в противном случае такие конфликты могут быть легко элиминированы при изменении ситуативной расстановки сил. Следуя логике концепции “расколов”, можно предположить, что внутриэлитные конфликты, открыто проявившиеся в постсоветский период, сформировались значительно раньше. Подобно расколам в западных обществах, они стали побочным продуктом советской модернизации, в рамках которой развивались латентные противоречия групп интересов, отмеченные советологами ревизионистской школы еще задолго до распада СССР [см. Skilling, Griffith 1971]. Эти противоречия, в свою очередь, отражали присущий модернизирующимся обществам — включая советское — конфликт между “центром” и “периферией” [см. Eisenstadt 1978, 1992], сыгравший позднее немалую роль в трансформации политических систем постсоветских государств. Во всяком случае, ряд исследователей склонен придавать первостепенное значение расколу “центр — периферия” как на уровне политических элит [см. Furman 1999], так и на социетальном уровне [см. Колосов и Туровский 1996; Туровский 1996].

Во-вторых, наряду с наличием структурных оснований расколов, не менее важным условием поддержания политической конкуренции является — по крайней мере, на начальном этапе — ее неустранимость, т.е. невозможность разрешения внутриэлитных конфликтов по принципу “игры с нулевой суммой”, что требует относительного баланса ресурсов, которые способны мобилизовать в свою пользу участники конфликта. Иными словами, в данном случае доминирование “центра” или “периферии” ведет к закреплению господства победившей стороны в контурах вновь возникающей политической системы, после чего о конкуренции говорить не приходится [сходные аргументы см. Przeworski 1991]. Подобного рода исходы конфликтов были отмечены в Саратовской области [Гельман, Рыженков, Бри 2000: гл. 3] и Беларуси [Furman 1999], где полная победа “периферии” над “центром” привела к формированию неконкурентных неопатримониальных режимов. Не благоприятствует формированию конкуренции и доминирование “центра”, хотя

* Наглядной иллюстрацией этому тезису служат парламентские выборы 1999 г. в России, когда массовое электоральное поведение в значительной мере определялось степенью монополизации власти в рамках региональных политических элит.

** Справедливость данного тезиса подтверждают, в частности, результаты исследований политического развития регионов России [см. Gel'man and Golosov 1998; Golosov 1999; Гельман, Рыженков и Бри 2000: гл. 5].

антидемократические альтернативы здесь не столь радикальны: речь, скорее, идет о разновидностях гибридных режимов [см. Гельман 1999а: гл. 4].

Вместе с тем, основания, которые могли бы обеспечить преобладание в постсоветских обществах формальных институтов, остаются неясными. Надо указать, что теории демократизации, за редким исключением [Linz, Stepan 1996; Weingast 1997], обходят вопрос об истоках верховенства права стороной, полагая его либо возникающим “по умолчанию”, либо унаследованным от прежнего режима, либо инсталлированным “извне” (в результате международного воздействия на процессы перехода). Однако постсоветский опыт в этом отношении заслуживает отдельного рассмотрения, поскольку: 1) наследие советского периода сформировало устойчивое преобладание неформальных институтов на уровнях как политического управления [см. Найшуль 1991], так и массового поведения [см. Ledeneva 1998]; 2) эффекты международного воздействия на становление в России формальных институтов весьма противоречивы [критические оценки см. Wedel 1998], тем более что введение там (и в других постсоветских странах) верховенства права не входило в планы Запада [см., напр. Ослунд 1996; Aslund 1997]; 3) в условиях доминирования в России правящей группировки, победившей в ходе “навязанных переходов” 1991 и 1993 гг. и обеспечившей себе электоральные победы в 1996 и 1999 гг., стимулы к созданию ею формальных институтов, которые ограничивали бы ее собственную власть, очевидно оказались подорваны. Означает ли это, что достигнутый в результате эквилибрум [см. Solnick 1999: 805] “обречен” на самовоспроизводство в течение десятилетий?

Один из вариантов перехода к верховенству права теоретик рационального выбора Б.Вейнгаст видит в заключении “пакта” политических акторов на основе своего рода негативного консенсуса [Weingast 1997: 252-253]. Анализируя английскую Славную революцию конца XVII в., он делает вывод о том, что соглашение тори и вигов, явившееся основой политической конкуренции при преобладании формальных институтов, стало возможным в связи с политикой короны, которая в течение нескольких лет систематически ущемляла вигов, а потом принялась за тори, чем подтолкнула последних к объединению против общего врага и выработке согласованных правил, исключавших произвол со стороны “суверена” (в пост-СССР нечто подобное — создание коалиции с участием либералов, националистов и части коммунистов, объединившихся против Лукашенко, — отмечалось в 1996 г. в Беларуси, хотя и не увенчалось успехом). Однако замечу, что достижение такого рода соглашения элит (считающегося наиболее успешным примером начала процесса демократизации [см. Burton, Higley, Gunther 1992]) — не единственно возможный результат негативного консенсуса даже в случае успеха оппозиции. Неясно, каковы стимулы к тому, чтобы инициаторы коалиции соблюдали условия “пакта” после свержения “суверена”, а не пошли по пути дележа добычи и не вступили бы в новый конфликт [см. также Weingast 1997: 258-259]. Так, Беловежские соглашения, ставшие, по сути, актом упразднения всех формальных институтов, существовавших в СССР, демонстрируют другую точку эквилибрума, и нет оснований полагать, что такого рода вариант негативного консенсуса менее привлекателен для его возможных участников.

Другой путь, способный привести к преобладанию формальных институтов, связан с исчерпанностью силовых стратегий в ходе конфликта конкурирующих акторов, когда ситуативно более слабая сторона, не имея иных ресурсов для обеспечения своего политического выживания, вынуждена прибегать к формальным институтам как орудию в этой борьбе [см. Geddes 1996]. Систематическое использование ею соответствующих норм и правил вынуждает других участников конфликта использовать те же орудия. В результате происходит переход от “войны всех против всех” к “борьбе по правилам” [см. Гельман, Рыженков, Бри 2000: гл. 1] и достижение, говоря словами А.Пшеворски, “обусловленного институционального компромисса” [Przeworski 1986, 1988]. Перенесение конфликта (который начинает разви-

ваться в рамках формальных институтов) на поле массовой политики через механизмы конкурентных выборов и сменяемости власти делает процесс демократизации устойчивым и непрерывным. Однако такие случаи в пост-СССР относительно немногочисленны*; более того, подобный исход конфликта определяется исключительно соотношением сил и ресурсным потенциалом конкурентов. Использование формальных институтов может оказаться недостаточным для выживания слабого конкурента, и тогда все надежды на установление верховенства права будут похоронены: “война всех против всех” примет характер “дурной бесконечности”, как в Приморском крае, где выборы органов местного самоуправления Владивостока срывались 17 (!) раз, или приведет к полному уничтожению слабой стороны по принципу “победитель получает все”.

Нельзя не отметить, что оба варианта установления верховенства права — негативный консенсус и “борьба по правилам” — предполагают, что преобладание формальных институтов возникает почти одновременно с появлением политической конкуренции или, по крайней мере, в процессе ее развития. Однако постсоветская Россия (в меньшей мере Украина) демонстрирует иной вариант перехода. Политическая конкуренция на уровне внутриэлитного конфликта существует примерно с 1990 г., тогда как тенденции к установлению верховенства права и преобладания формальных институтов выражены довольно слабо — скорее, имеет место закрепление господства и даже формализация неформальных институтов. Правящим группировкам России (после 1991 г.) и Украины (после 1994 г.) удалось сконцентрировать в своих руках достаточно ресурсов для того, чтобы минимизировать угрозу со стороны конкурентов и не испытывать, таким образом, потребности в подотчетности формальным институтам. Более того, если до президентских выборов 1996 г. внутриэлитный конфликт в России можно было с известной долей условности рассматривать как отражение конфликта “центра” и “периферии” [см., напр. McFaul 1997; Furman 1999], то последующие события (во всяком случае, после 1997 г., когда распалась коалиция, поддержавшая Ельцина на президентских выборах [см. Shevtsova 1999]) по преимуществу указывают на подрыв структурных оснований политической конкуренции. Ход и итоги парламентских выборов 1999 г. в России также свидетельствуют в пользу этой тенденции.

Итак, результаты трансформации части постсоветских политических режимов, приведшей (хотя бы в Украине и России, причем в последней и на национальном уровне, и в части регионов) к установлению политической конкуренции при преобладании неформальных институтов, можно оценить как промежуточные. Это ставит на повестку дня вопрос о возможных перспективах дальнейшего перехода и о некоторых новых исследовательских задачах.

* * *

Очевидно, что шансы на переход постсоветских стран к демократии зависят от того, как и когда может быть достигнуто преобладание формальных институтов (этот процесс в любом случае не обещает быть одномоментным). На первый взгляд, просматриваются три варианта такого перехода: 1) постепенное принятие формальных институтов в качестве побочного продукта развития конкурентной, прежде всего электоральной, политики в ее нынешнем варианте [см. McFaul 1999]; 2) переход к неконкурентному политическо-

* Постсоветский опыт такого рода (на региональном уровне) связан, в частности, с весьма эффективным применением в 1990-1991 гг. депутатами Ленсовета мер законодательной политики, предотвратившей полновластие почти харизматического (тогда) мэра Собчака [см. Горный и др., 1996], а также с созданием отставным экс-губернатором Свердловской области Росселем в 1993 г. партии “Преображение Урала”, что повлекло за собой возникновение в регионе относительно развитой партийной системы [см. Gel'man and Golosov 1998].

му режиму с последующей инсталляцией формальных институтов через централизацию и монополизацию власти в силу (вос)становления государства [см. Волков 1998: 47]; 3) подрыв складывающегося политического режима на манер нового “навязанного перехода” в результате эскалации конфликтов — в т.ч. вовлечения в них политических аутсайдеров и массовых акторов [см. Solnick 1999: 815; Гельман, Рыженков, Бри 2000: гл. 9]. Однако последствия каждого из этих вариантов перехода по меньшей мере неочевидны.

Выше уже отмечалось, что конкурентная электоральная политика способствует успешной инсталляции формальных институтов лишь в том случае, если конкуренция имеет неустранимый характер как в смысле примерного равенства ресурсов конкурентов, так и с точки зрения структурных оснований конфликта. Оба эти условия в России пока отсутствуют (в Украине — по крайней мере, первое); их достижение в обозримом будущем представляется маловероятным. Следовательно, нет никаких веских оснований для того, чтобы формальные институты стали там “единственной признанной игрой” (only game in town) [Linz, Stepan 1996]. Напротив, как справедливо заметил Солник, в определенной ситуации электоральная конкуренция может являться лишь частью стратегии сохранения баланса сил между группами элит, но не вести к усилению формальных институтов [Solnick 1999: 805].

Обсуждение варианта перехода к неконкурентной политике возвращает нас к идущей с 1989 г. дискуссии о возможности авторитарной трансформации СССР и России [см. обзоры Sautman 1995; Гельман 1999а: гл. 2]. В связи с известным ростом влияния правых либералов вероятность подобного исхода становится для России актуальной (стоит напомнить, что А.Чубайс еще в 1990 г. предлагал развернутую программу авторитарных рыночных реформ). Не вдаваясь в полемику о достоинствах и недостатках такого пути, следует отметить, что опыт постсоветских стран, где установились неконкурентные режимы (в частности, Беларуси и Казахстана), не свидетельствует в пользу утверждения в них верховенства права. Формальные институты служат здесь скорее фасадом неформального господства, а более широкие административные возможности государства не только не гарантируют гражданам и организациям защиту от arbitrary rule, но, напротив, увеличивают угрозу их применения. Нет оснований полагать, что в России или Украине сложится принципиально иная ситуация. В любом случае монополия на власть как таковая не рождает формальные институты: ограничивать собственный произвол никто не намерен.

Наконец, эскалация конфликта и подрыв режима изнутри выглядят вполне реальной альтернативой сохранению статус-кво. Если сопоставлять масштабы политических преобразований в сегодняшней России или Украине с уровнем политического насилия (политические убийства, терроризм по политическим мотивам, массовые политические акции), то, абстрагируясь от войны в Чечне, последний окажется непропорционально мал даже по сравнению с опытом России до 1917 г. (не говоря уже о Латинской Америке). Можно предположить: если, скажем, российские политики будут чаще и больше убивать друг друга, то цена их конкуренции в рамках неформальных институтов окажется более высокой, чем признание институтов формальных (этот тезис не нужно трактовать как призыв к насилию!). Но такой вариант развития событий — далеко не единственный. Альтернативами ему могут стать как территориальная дезинтеграция страны, так и переход к неконкурентной политике через возникновение нового недемократического режима [см., напр. Knight 1992]. Нет оснований ожидать, что сам по себе кризис постсоветских режимов будет способствовать именно демократизации, а не другим исходам.

В целом, постсоветский опыт лишней раз подтверждает, что демократия не рождается “по умолчанию” или даже в результате усилий “демократов” (пусть ими и движут добрые намерения), но представляет собой прежде всего “обусловленный исход конфликта” [Przeworski 1988]. Этот, казалось бы, довольно банальный вывод может служить “точкой отсчета” для дальнейших

исследований. Выше было показано, что центральными проблемами демократизации в пост-СССР являются политическая конкуренция и становление формальных институтов. Изучение этих аспектов постсоветской политики — и в России, и (во многом) на Западе — находится пока на начальной стадии анализа эмпирики в целях подтверждения и/или опровержения существующих теорий (релевантность которых по отношению к пост-СССР, как уже говорилось, порой вызывает сомнения). Очевидно, что следующие шаги по переосмыслению теорий требуют и иных подходов к изучению практики постсоветского развития.

До самого последнего времени рассмотрение процессов демократизации вообще и в пост-СССР, в частности, проходило в рамках парадигмы “голливудского фильма”. Согласно ей, “хорошие парни” (сторонники демократии) противостоят “плохим” (противникам демократии), но в конечном счете зрителей ждет happy end, т.е. успех “хороших парней” [см., напр. McFaul 1997]. Сегодня, после осознания того, что happy end вряд ли наступит, а “хороших парней” в природе не бывает (равно как и “плохих”), следует ожидать — как некогда в кинематографе — прихода реализма (в любом возможном смысле этого понятия). Реализм в изучении политики в пост-СССР означает не только отказ от нормативного взгляда и принятие существующих акторов и институтов такими, каковы они есть. В более широком плане речь идет о реализации исследовательских программ, ориентированных на выявление причин и следствий динамики акторов и институциональных изменений в сравнительной перспективе — как кросс-национальной, так и кросс-региональной (имея в виду сравнение национальной и субнациональной политики в странах пост-СССР). Такие исследования могут стать “точками роста” нового знания о мире политики в целом. Для изучения субнациональной политики в России такой “точкой роста” будет, вероятно, политический анализ становления местного самоуправления в крупных городах и сопутствующих этому процессу конфликтов региональных и субрегиональных элит. Для изучения политики в постсоветских государствах новые познавательные возможности откроет анализ перехода в Беларуси, дающей пример успешной консолидации недемократического посткоммунистического режима. При изучении электоральной политики в пост-СССР мы, похоже, узнаем больше нового не столько из анализа партийных программ, сколько из переосмысления феномена “политических машин” и административной мобилизации. Наконец, собственно политическая практика функционирования формальных институтов — создание и применение конкретных законов, разрешение споров и использование санкций — также остается резервом исследовательской повестки дня.

Реалистический анализ постсоветской политики только начинается. Продолжение следует...

-
- Афанасьев, М. 1997. *Клиентелизм и российская государственность*. М.: МОНФ.
- Ахиезер, А. 1997. *Россия: критика исторического опыта*. Новосибирск: Сибирский хронограф.
- Белокурова, Е. 2000. *Государство и благотворительные организации: трансформация моделей взаимодействия*. Дис. на соиск. уч. степени кандидата политических наук. Европейский университет в Санкт-Петербурге и ИМЭМО РАН.
- Волков, В. 1998. Монополия на насилие и скрытая фрагментация российского государства (исследовательская гипотеза). — *Полис*, № 5.
- Гельман, В. 1998. Демократия избыточная или недостаточная? — *Pro et Contra*, № 4.
- Гельман, В. 1999а. *Трансформация в России: политический режим и демократическая оппозиция*. М.: МОНФ.
- Гельман, В. 1999б. “Сообщество элит” и пределы демократизации: Нижегородская область. — *Полис*, № 1.
- Гельман, В., Рыженков, С., Бри, М. (ред.) 2000. *Россия регионов: трансформация политических режимов*. М.: Весь мир (в печати).
- Голосов, Г. 1999. *Партийные системы России и стран Восточной Европы*. М.: Весь мир.
- Горный, М. и др. 1996. *Городской Совет Ленинграда — Санкт-Петербурга в 1990 — 1993 годах. — Организация власти в Санкт-Петербурге*, вып.1.

- Дилигенский, Г. (ред.) 1998. *Человек в переходном обществе. Социологические и социально-психологические исследования*. М.: ИМЭМО РАН.
- Дилигенский, Г. 1999. Дифференциация или фрагментация? О политическом сознании в России. — *МЭМО*, № 9—10.
- Елизаров, В. 1999. Элитистская теория демократии и современный российский политический процесс. — *Полис*, № 1.
- Фурман, Д. (ред.) 1998. *Белоруссия и Россия: общества и государства*. М.: Права человека.
- Кагарлицкий, Б. 1999. “Касикизм” по-русски. — *Независимая газета*, 4.VIII.
- Колосов, В., Туровский, Р. 1996. Электоральная карта современной России: генезис, структура и эволюция. — *Полис*, № 4.
- Магомедов, А. 1995. Корпорация “Калмыкия” — выражение идеологии правящей региональной элиты. — *МЭМО*, № 12.
- Мельвиль, А. 1999. *Демократические транзиты: теоретико-методологические и прикладные аспекты*. М.: МОНФ.
- Найшуль, В. 1991. Высшая и последняя стадия социализма. — Ноткина, Т. (ред.) *Погружение в трясину*. М.: Прогресс.
- Ослунд, А. 1996. *Россия: рождение рыночной экономики*. М.: Республика.
- Сенатов, О. 1996. Региональный авторитаризм на стадии его становления. — Заславская, Т. (ред.) *Куда идет Россия? Трансформация постсоветского пространства*. М.: Аспект-Пресс.
- Туровский, Р. 1996. Политическое расслоение российских регионов (история и факторы формирования). — Кувалдин, В. (ред.) *Партийно-политические элиты и электоральные процессы в России*. М.: Центр комплексных социальных исследований и маркетинга.
- Холодковский, К. 1997. Консолидация элит: общественный пакт или верхушечный сговор? — Заславская, Т. и др. (ред.) *Куда идет Россия? Общее и особенное в современном развитии*. М.: Ин-терцентр.
- Шумпетер, Й. 1995. *Капитализм, социализм и демократия*. М.: Экономика, с.335.
- Almond, G., Rosselle, L. 1990. Model Fitting in Communist Studies. — Almond, G. *A Discipline Divided. Schools and Sects in Political Science*. L.: Sage.
- Aslund, A. 1997. Economic Causes of Crime in Russia. — Sachs, J.D., Pistor, K. (eds). *The Rule of Law and Economic Reform in Russia*. Boulder, CO: Westview.
- Bettham, D. (ed.) 1994. *Defining and Measuring Democracy*. L.: Sage.
- Bollen, K.A. 1991. Political Democracy: Conceptual and Measurement Traps. — Inkeles, A. (ed.) *On Measuring Democracy. Its Consequences and Concomitants*. New Brunswick, NJ, L.: Transaction Publishers.
- Brie, M. 1997. The Political Regime of Moscow — Creation of a New Urban Machine? — *Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung Working Papers*. 2
- Brown, A. 1999. Russia and Democratization. — *Problems of Post-Communism*, vol. 46, № 5.
- Bunce, V. 1995a. Should Transitologists be Grounded? — *Slavic Review*, vol. 54, № 1.
- Bunce, V. 1995b. Paper Curtains and Paper Tigers. — *Slavic Review*, vol. 54, № 4.
- Bunce, V. 1998. Regional Differences in Democratization; The East Versus the South. — *Post-Soviet Affairs*, vol. 14, № 3.
- Burton, M., Higley, J., Gunther, R. 1992. Introduction: Elite Transformations and Democratic Regimes. — Higley, J., Gunther, R. (eds) *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe*. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press.
- Case, W. 1996. Can the “Halfway House” Stand? Semidemocracy and Elite Theory in Three Southeast Asian Countries. — *Comparative Politics*, vol. 28, № 4.
- Collier, D., Levitsky, S. 1997. Democracy with Adjectives. Conceptual Innovation in Comparative Research. — *World Politics*, vol. 49, № 3.
- Colton, T. 2000. *Transitional Citizens*. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press (forthcoming).
- Coppedge, M., Reinicke, W.H. 1991. Measuring Polyarchy. — Inkeles, A. (ed.) *On Measuring Democracy. Its Consequences and Concomitants*. New Brunswick, NJ, L.: Transaction Publishers.
- Dahl, R. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale Univ. Press.
- Diamond, L. 1992. Economic Development and Democracy Reconsidered. — Marks, G. and Diamond, L. (eds). *Reexamined Democracy. Essays in Honor of S.M.Lipset*. L.: Sage.
- Diamond, L. 1999. *Developing Democracy. Toward Consolidation*. Baltimore, L.: Johns Hopkins Univ. Press.
- Eisenstadt, S. 1978. *Revolution and Transformation of Societies: A Comparative Study of Civilizations*. N.Y.: Free Press.
- Eisenstadt, S. 1992. Center-Periphery Relations in the Soviet Union: Some Interpretative Observations. — Motyl, A. (ed.). *Thinking Theoretically About Soviet Nationalities. History and Comparison in the Study of the USSR*. N.Y.: Columbia Univ. Press.
- Elster, J. (ed.) 1996. *Roundtable Talks and The Breakdown of Communism*. Chicago: University of Chicago Press.
- Evans, G., Whitefield, S. 1993. Identifying the Basis of Party Competition in Eastern Europe. — *British Journal of Political Science*, vol. 23, № 4.
- Fish, M.S. 1996. Russia's Fourth Transition. — Diamond, L., Plattner, M. (eds.). *The Global Resurgence of Democracy*. 2nd edition. Baltimore, L.: Johns Hopkins Univ. Press.
- Fish, M.S. 1998. Democratization Requisites: The Postcommunist Experience. — *Post-Soviet Affairs*, vol. 14, № 3, p.225-226.

- Furman, D. 1999. "Centres" and "Peripheries". The Political Systems of the Three East Slavic Republics. — *Russian Politics and Law*, vol. 37, № 2.
- Geddes, B. 1996. Initiation of New Democratic Institutions in Eastern Europe and Latin America. — Lijphart, A., Waisman, C. (eds). *Institutional Design in New Democracies. Eastern Europe and Latin America*. Boulder, CO: Westview, p.18-19.
- Gel'man, V. 1999. Regime Transition, Uncertainty and Prospects for Democratization: The Politics of Russia's Regions in a Comparative Perspective. — *Europe-Asia Studies*, vol. 51, № 6.
- Gel'man, V., Elizarov, V. 1999. Russia's Transition and Founding Elections. — in Gel'man, V., Golosov, G. (eds) *Elections in Russia, 1993 — 1996*. Berlin: Edition Sigma.
- Gel'man, V., Golosov, G. 1998. Regional Party System Formation in Russia: The Deviant Case of Sverdlovsk Oblast'. — *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, vol. 14, № 1/2.
- Golosov, G. 1999. From Adygeya to Yaroslavl': Factors of Party Development in the Regions of Russia. — *Europe-Asia Studies*, vol. 51, № 8.
- Held, D. 1996. *Models of Democracy*. 2nd edition. Cambridge, UK: Polity Press.
- Higley, J., Burton, M. (1989). Elite Variables in Democratic Transitions and Breakdowns. — *American Sociological Review*, vol. 54, № 1.
- Hughes, J. 2000. Transition Models and Democratization in Russia. — Bowker, M. and Ross, C. (eds.). *Russia After the Soviet Union*. Harlow: Longman.
- Huntington, S. 1991. *The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman, OK, L.: University of Oklahoma Press.
- Huntington, S. 1996. *The Clash of Civilizations and Remaking the World Order*. N.Y.: Simon and Schuster.
- Karl, T., Schmitter, Ph. 1991. Models of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe. — *International Social Science Journal*, vol. 43, № 128, p.275.
- Knight, A. 1992. 'Mexico's "Elite Settlement": Conjuncture and Consequences — Higley, J. and Gunther, R. (eds.). *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe*. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press.
- Ledeneva, A. 1998. *Russia's Economy of Favours: Blat, Networking, and Informal Exchanges*. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press.
- Lijphart, A. 1971. Comparative Politics and Comparative Method. — *American Political Science Review*, vol. 65, № 3, p.691-692.
- Linz, J., Stepan, A. (eds) 1978. *The Breakdown of Democratic Regimes*. Baltimore, L.: Johns Hopkins Univ. Press.
- Linz, J., Stepan, A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore, L.: Johns Hopkins Univ. Press.
- Lipset, S.M. 1959. Economic Development and Democracy. — *American Political Science Review*, vol. 53, № 1.
- Lipset, S.M. 1994. The Social Requisites of Democracy Revisited: 1993 Presidential Address. — *American Sociological Review*, vol. 59, № 1.
- Lipset, S.M., Rokkan, S. 1967. Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignment. — Lipset, S.M., Rokkan, S. (eds) *Party System and Voter Alignment: Cross-National Perspectives*. N.Y.: Free Press.
- Lipset, S.M., Kyong-Ryung Seong, Jtorres, Ch. 1993. A Comparative Analysis of Social Requisites of Democracy. *International Social Science Journal*, vol. 45, № 136.
- Matsuzato, K. 1999. *From Ethno-Bonapartism to Centralized Caciquismo. Features and Genesis of the Tatarstan Political Regime*. Paper presented at AAASS National Convention. St.Louis, MO.
- McAllister, I., White, S. 1994. Political Participation in Postcommunist Russia: Voting, Activism and the Potential for Mass Protest. — *Political Studies*, vol. 42, № 4.
- McFaul, M. 1995. State Power, Institutional Change and the Politics of Privatization in Russia. — *World Politics*, vol. 47, № 2.
- McFaul, M. 1997. *Russia's 1996 Presidential Elections: The End of Polarized Politics*. Stanford, CA: Hoover Institution Press.
- McFaul, M. 1998. Russia's 'Privatized' State as an Impediment to Democratic Consolidation. — *Security Dialogue*, vol. 29, № 2; № 3.
- McFaul, M. 1999. The Perils of a Protracted Transition. — *Journal of Democracy*, vol. 10, № 2.
- Melville, A. 1999. Russia in the 1990s: Democratization, Postcommunism, or Something Else? — *Demokratizatsiya*, vol. 7, № 2.
- Merkel, W. 1998. The Consolidation of Post-Autocratic Democracies: A Multi-Level Model. — *Democratization*, vol. 5, № 3.
- North, D. 1990. *Institutions, Institutional Changes, and Economic Performance*. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press.
- O'Donnell, G. 1994. Delegative Democracy. — *Journal of Democracy*, vol. 5, № 1.
- O'Donnell, G. 1996. Illusions About Consolidation. — *Journal of Democracy*, vol. 7, № 2.
- O'Donnell, G. 1998. Horizontal Accountability in New Democracies. — *Journal of Democracy*, vol. 9, № 3.
- O'Donnell, G., Schmitter, Ph. 1986. *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Baltimore, L.: Johns Hopkins Univ. Press.
- Offe, C. 1996. *Varieties of Transition. The East European and East German Experience*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Petro, N. 1999. The Novgorod Region: A Russian Success Story. — *Post-Soviet Affairs*, vol. 15, № 3. *Political Science and Politics*. 1999, vol. 32, № 2, p.434.

- Przeworski, A. 1986. Some Problems in the Study of Transition to Democracy. — O'Donnell, G., Schmitter, Ph., Whitehead, L. (eds). *Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives*. Baltimore, L.: Johns Hopkins Univ. Press.
- Przeworski, A. 1988. Democracy as a Contingent Outcome of Conflicts. — Elster, J., Slagstad, R. (eds). *Constitutionalism and Democracy*. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press, p.59.
- Przeworski, A. 1991. *Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press, p.51-53.
- Putnam, R. 1993. *Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
- Rokkan, S. et al. 1970. *Citizens, Elections, Parties. Approaches to the Comparative Study of the Process of Development*. Oslo: Universitetsforlaget, p.72-144.
- Rokkan, S. 1977. Toward a Generalized Concept of Verzuiling: A Preliminary Note. — *Political Studies*, vol. 25, № 4.
- Rustow, D. 1970. Transitions to Democracy: Toward a Dynamics Model. — *Comparative Politics*, vol. 2, № 3.
- Sartori, G. 1990 (1968). The Sociology of Parties: A Critical Review. — Mair, P. (ed.). *The West European Party System*. Oxford: Oxford Univ. Press, p.176.
- Sautman, B. 1989. The Devil to Pay. The 1989 Debate and the Intellectual Origins of Yeltsin's "Soft Authoritarianism". — *Communist and Post-Communist Studies*, vol. 28, № 1.
- Schmitter, Ph., Karl, T. 1991. What Democracy Is... and Is Not. — *Journal of Democracy*, vol. 2, № 3.
- Schmitter, Ph., Karl, T. 1994. The Conceptual Travels of Transitologists and Consolidologists: How Far to the East They Attempt to Go? — *Slavic Review*, vol. 53, № 1.
- Schmitter, Ph., Karl, T. 1995. From an Iron Curtain to a Paper Curtain: Grounding Transitologists or Students of Postcommunism? — *Slavic Review*, vol. 54, № 4.
- Shevtsova, L. 1999. *Yeltsin's Russia. Myths and Reality*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- Skilling, H.G., Griffiths, F. 1971. (eds) *Interest Groups in Soviet Politics*. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
- Skocpol, Th., Somers, M. 1980. The Use of Comparative History in Macrosocial Inquiry. — *Comparative Studies in Society and History*, vol. 22, № 2.
- Solnick, S. 1998. *Stealing the State. Control and Collapse in Soviet Institutions*. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press.
- Solnick, S. 1999. Russia's "Transition": Is Democracy Delayed Democracy Denied? — *Social Research*, vol. 66, № 3.
- Stepan, A. 1999. *Russian Federalism in Comparative Perspective: Problems of Power Creation and Power Deflation*. Paper presented at AAASS National Convention. St.Louis, MO.
- Stoner-Weiss, K. 1999. Central Weakness and Provincial Autonomy: Observations of the Devolution Process in Russia. — *Post-Soviet Affairs*, vol. 15, № 1.
- Treisman, D. 1996. Why Yeltsin Won. — *Foreign Affairs*, vol. 75, № 5.
- Treisman, D. 1998. Dollars and Democratization: The Role and Power of Money in Russia's Transitional Elections. — *Comparative Politics*, vol. 31, № 1.
- Tsygankov, A. 1998. Manifestations of Delegative Democracy in Russian Local Politics: What Does It Mean for the Future of Russia? — *Communist and Post-Communist Studies*, vol. 31, № 4.
- Vanhanen, T. 1997. *Prospects for Democracy. A Study of 172 Countries*. L.: Routledge, p.41.
- Volkov, V. 1999. Violent Entrepreneurship in Russia. — *Europe-Asia Studies*, vol. 51, № 5.
- Wedel, J.R. 1998. *Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe, 1989-1998*. N.Y.: St.Martin's Press.
- Weingast, B. 1997. Political Foundations of Democracy and Rule of Law. — *American Political Science Review*, vol. 91, № 2.
- Whitefield, S., Evans, G. 1999. Class, Markets and Partisanship in Post-Soviet Russia: 1993-96. — *Electoral Studies*, vol. 18, № 2.